

Между
печалью
и
небытием



Егор Воронов

*стихи
малая проза
лирико-философские миниатюры*

МЕЖДУ ПЕЧАЛЬЮ И НЕБЫТИЕМ

ПОЭЗИЯ
лирико-философские миниатюры
малая проза

(осеннее переиздание)

Город Вечной Осени
2016

*...between
grief and nothing
I will take
grief*

William Faulkner

Между печалью и небытием. Сборник текстов (Осеннее переиздание). -
Г.: Самиздат, 2016. - 100 с.

В книгу вошли поэтические тексты, лирико-философские миниатюры и произведения малой прозы Егора Воронова за 2010 - 2016 г.г. Первое живое издание текстов виртуального симулякра, живущего в Городе Вечной Осени. Некоторые произведения уже публиковались ранее в провинциальных и столичных поэтических сборниках, но все вместе сошлись впервые именно здесь.

© Дизайн обложки - Егор Воронов, 2016
© Верстка - Егор Воронов, 2016
© Тексты - Егор Воронов, 2016

Avant-propos

Пустая сцена старого заброшенного Дворца культуры. Темно и тихо. Я смотрю, как сквозняки покачивают полуистлевшие и расписанные узорами плесени крылья занавеса. На полу - пыль, куски штукатурки и следы крысиных лап. Ни призраков, ни времени, ни даже одиночества. Здесь идет Заключительное представление. Я чувствую энтропийную суггестивность Последнего Часа и знаю, что стрелки хронометра уже не выйдут на новый круг. Госпожа Эсхато готова сыграть свою прощальную роль и зачитать обвинительный монолог перед последним актом, Актом Небытия. Но прежде....

Я надеваю маску и выхожу на безлюдную сцену. Сквозь провалы в крыше начинает идти дождь - единственный аккомпаниатор и слушатель этой абсурдной интерлюдии. Я почти недвижим. Только глаза с печальным весельем и пониманием предопределенности всего сказанного смотрят на пустой зал. Где-то тихо звенит медный колокольчик - метрономом, отмеряющий последние мгновения перед началом колоссального пожара. Одиннадцатой казни египетской, призванной уничтожить Рим под номером Ноль и сжечь сами небеса. Мой голос низок и глух.

"Егор Воронов. Это было моим именем в те времена, когда я водил знакомство со словами и искал невидимые монетки смысла в пересохших фонтанах Атлантиды. Самонадеянно мнил себя чем-то значительнее Пустоты, но которой упрямо и неизменно оставался. Восхищался архитектурой времени, беспризорничал в текстах и ловил альбатросов надежд. Я так любил вершины, что всегда предпочитал оставаться на Дне. Ведь именно с самой низкой точки Фудзияма кажется улиткам наиболее величественной. Как и любому живому существу, мне всегда чего-то не хватало. И я искал. Искал себя, потерянного в этих самых поисках, играя с напыщенностью слов и таинственностью облика. Играл, пока сам не превратился в игру.

Я что-то постоянно записывал. Но Тексты-на-Пути превращались в хлебные крошки Гензель и Гретель. И сейчас многие из них уже склеваны Временем в новом контексте существования. Их осталось не так уж и много, но на поминальный сухарик, думаю, хватит. Это слова не для ресторанных ужинов и корпоративных гуляний, не для семейных обедов и концертных пьянок. Это слова, которые пишут своими ботинками заблудившиеся в долгом пути. И место им перед самым Завершением. Когда не осталось надежд, что завтра наступит".

Пустая сцена старого заброшенного Дворца культуры. Темно и тихо.

La douleur

Закройте боль на трое суток
За пьянство, искренность, стихи,
За превращенье чепухи
В коктейль из черных незабудок
И эпилепсию тоски.

Закройте боль в тюрьму гортани
Дрожащим комом тишины,
В которой горький вкус вины
И скрип избитых оправданий
Духовниками стать должны.

Закройте боль холстами ночи,
Чтоб сны съедали эту тварь.
Смените Я на адрес почты
С пропиской в черных многоточьях
И сердцем, вглавленным в январь.

Закройте боль до стука в двери
На чердаке, ведущем вниз,
Среди растительных мистерий,
Несуществующих материй
И санитарно ждущих крыс.

Doppelgänger

Не знаю кто во тьме таится,
но он желает новых встреч.
И все же, стоя у границы,
ее боится пересечь.

Двойник без тени, шут и гений,
второе Я в потоке чувств.
Сквозь зеркала он смотрит смело
в глаза...

Глаза! Я их боюсь.

Во снах друг друга посещая,
играем вечный шах и мат.
Один шатается по краю,
другой - петляет наугад.

Ответ, я чувствую, так близок,
как запах правды на войне.
И каждый вздох – глава Улисса,
стихи, пришедшие извне.

Стремясь к единству многих схожеств,
желая знать кто скрыт во тьме,
мы выбираем кто дороже:
Я в нем? А, может, Он во мне?

Stay Away!

Настежь окна! Больше чаек
и качаний головой.

Помолчим, не отвечая
возмущеньям и печалям.
К черту мир! И черт со мной!

Встречи ночью на вокзале,
злые звезды жгут костры,
чувства снова опоздали,
да и мы уже устали
округлять свои углы.

Отступить? Хоть до Смоленска,
за фанерой и в Париж.
а к полуночи, по-детски,
отправлять себя в Освенцим
микроблоговых афиш.

Саркофаги первых строчек -
Одиночество в толпе.
Полевая чья-то почта
(пунктуация хохочет)
не закрыта на столе.

Между делом изучаю
лайки призрачных друзей.
Замкнут круг и нескончаем
в пустоте чужих печалей,
а внутри лишь
Stay Away!

La Transfiguration

Не понимаю смысла слов,
Они как слезы на ветру.
И, кажется, что я готов
Взлететь над крышами домов
И устремиться на луну.

Лететь, не осязая звезд,
Не слыша криков и молитв.
Лететь как черный альбатрос
Сквозь слов обманчивый гипноз,
Не разбирая личный шрифт.

Готов растаять в тишине
Под отпечатками чернил,
Быть со Вселенной наравне
И одновременно извне,
Где Хаос Логос победил.

Готов на все, чтоб снова знать,
Вдыхать слова, как кислород
В пустые легкие-тетрадь,
И снова к звездам улетать
Преображенным в сам полёт.

Salvia D

Я отключаю время
и становлюсь прозрачным,
Предельно белым,
словно первый в мире снег.

Слова и голос злее
и до предела мрачно
Звучат над телом,
нёшим имя Человек.

Углы теряют формы,
всё искажённой чувства,
Дрожит реальность,
саржей обвивая тьму.

Гримёрка бутафорна
и в зале тоже пусто.
Осталась праздность -
автор и исток всему.

Теперь я - magnit orus
внутренних исканий.
Нагваль-индеец,
пять минут до новых звёзд.

Сгоревший дважды Глобус
серых канцелярий.
Перерожденец,
ставший птицей Алконост.

Ab imo pectore

Душа кричит издергано и с кровью,
В самой себе покой не находя,
Измучена чернейшим сквернословьем,
В тоннелях искалеченного Я.

Ползет наружу, разгрызая сердце,
Неистово стенает по углам,
Мечтает тайно на людях раздеться,
Напиться вдрызг и разругаться в хлам.

На два размера выросла из тела,
За полбутылки продалась луне.
Всю ночь шаталась, каялась, болела,
Но не была со мной наедине.

Душа хрипит, обугленная в венах,
В бинтах из модных шведских кинолент.
Скрипит задверьем метрополитена
В вагонах самиздатовских газет.

Прости, но я сегодня в самоволку,
Вино, гашиш, бибоп и не-один.
Я буду говорить и не умолкну,
Пока в крови гуляет никотин.

Пока со мной беседуют вороны,
Пока на кухне веселится Джим,
Пока я лгу себе, что я влюбленный,
Тобой я снова буду нелюбим.

2015 An Odyssee Inside

Кидал хризантемы в бродячих собак,
Охотился сам на себя в одиночку,
И будто шайенский ночной Керуак
Дружил с забулдыгами в дым и в рассрочку.

Спешил на свиданье с пейзажами крыш,
Курил до удушья чужие секреты,
Ковчег отыскал под названьем "Малыш"
И двери в свое довоенное лето.

По книгам пьянел, воевал и дружил,
Срывал поцелуи июльского ливня,
Подмигивал плотникам выше стропил,
Стараясь вести себя деконструктивно.

Китайскую вазу не спас красотой
В магическом ТюЗе для умалишенных,
Но вытравил Монтэгом тридцать седьмой
Из птичьего сердца чернобыльской зоны.

Свой пьяный корабль поджег у Невы,
Из Зимнего в Фриско отправился маркой.
Реальный? Считаюсь таким средь живых,
Как члены "Дискавери" Артура Кларка.

В дороге

Так много прохожих в парадных сознаниях,
Они собирают осколки вниманья,
Чтоб завтра с вахтером зимы расплатиться
И выкупить к лету свои колесницы.

Сюжеты мертвы, оцитатились фильмы,
Увы, топ апі, даже дети бессильны
Вернуть в этот космос воздушного змея
Из неба, которое жжёт гонорея.

Купи им вина, с откровеньем на сдачу,
Пределы безумства в душе обозначив,
И каждому дай по бубновой гвоздике.
Пора прекращать этот шепот и крики.

И вот однокомнатный старый бродяга
Раскроет ладонь, как кусочек бумаги.
В ней звездная карта уставшего неба
И ветры, гудящие Бахом свирепо.

Без права остаться, без личного дела
Душа напилась, обжилась, повзрослела,
Отправилась "стопом" по давним знакомым -
Планетам-квартирам, глазам-космодромам.

The Catcher

Наша кухня пропитана бхутой Вудстока,
Декреталием сна на запросы онлайн.
Здесь всегда многолюдно, всегда одиноко.
Каждый сам за себя в окружении тайн.

Оседлавшие бурю средь тонких материй
Простодушно молчат в теургии бесед.
Геометрия лжёт, сражено притяженье
И цветаевский стих непристойно раздет.

На двенадцатом такте рассыпалась воля,
Представление стало судьей бытию.
Страх нет, мы его навсегда побороли,
Прикоснувшись губами к святому огню.

Досвиданствуют мыслям волшебных мгновений
Демиурги своих одиночных пространств.
"До свиданья, мой друг..." - не прощанье, прощенье
По дороге из сказок в хмельной декаданс.

Мы - бродяги зеркал, проигравшие тени
Ледяному орлу у ночного костра.
Я не помню, чтоб мы хоть когда-то выросли.
Умирали? Конечно. На кухне. Вчера.

Все скомкано, продано, пропито в хлам,
Проиграно сфинксу в хмельном переходе.
Окурки студенток и феназепам,
Инсайды тоски по чужим небесам
И бунт за поправки в божественном КЗоТе.

Да, все это в моде, но мне наплевать -
Кровать Белоснежки, стишки или крыши.
Дойти б до заставы, а там и узнать -
Как выжить, услышав приказ "Отступить!"?
И как отступить, когда хочется выжить?

Пожарные вышли на юфтевый марш,
Кларисса задавлена бронемашинной.
Война - это шоу, большой эпатаж,
Счета, заголовки, коньяк, антураж,
Один поцелуй, серебро и осина.

Пробить бы билет на полночный трамвай,
Идущий от Стикса до станции "Детство",
Взломать покаяньем церковный Wi-Fi,
Оформить аккаунт, взойти на Синай...
Финалом - пытаться в подъезде согреться.

Recherche

Гоните прочь невидимых друзей -
Благодарных, бледных, одиноких...
Во тьму, в подвал без окон и дверей,
Где только их больные монологи.

Не верьте тем, кто, глядя в зеркала,
Не видит в них свои же отраженья.
Не доверяйте той, что не смогла
Любить в безумстве гибнущей Вселенной.

Взорвите стены рёберных темниц,
Свободой напоите ваше сердце,
Чтоб в череде нулей и единиц
Стать неучтенным всеми ополченцем.

Ищите тех, кто говорит с водой,
И кто в живое обращает камни.
Нет-нет, у них нет крыльев за спиной,
Им ночь и звезды служат именами.

Ищите их по осени в глазах,
По известковым сказкам на ладони
И времени, свернувшемся в часах...
Ищите. Перед следующей бойней.

Пеппи

Чулки повесив на кровати,
Смеется Пеппи, повзрослев,
В своей двухкомнатной палате
Под звуки внутреннего party
Среди убитых королев.

Бежит в себя от скуки взрослых
По мутным лужам февраля
Пока рассвет и мысли босы
И не сошли еще засосы
Хмельных осколков хрусталя.

Под бой часов танцует джигу
В сопровождении теней -
Оствервенело, буйно, дико...
Задорный смех на грани крика
И кровь сочится все сильнее.

Скажи мне, Пеппи, где твой остров,
Сбежавший из дому в четверг?
Где безрассудное сиротство,
А с ним протест и благородство?
Hélas, остался только смех.

Сквозь скрип разбитого сознания,
В дыму последних детских игр,
Где каждый слог почти бескрайний
И разговаривают камни,
Ты замолчишь, покинув мир.

Виват Дракон!

Из зимней спячки на медведях
С луной под мышкой - в Китежград.
И пусть всю ночь стучат соседи.
Плевать! Keep calm and lose your head!

Мы будем жить внутри собаки,
С Жак Ивом ванны покорять,
Сбегать из кухонной Итаки
Под чью-то детскую кровать.

Потом в уютные гробницы
Капризных блюзовых гитар,
Рискуя в стенах простудиться,
Мы пригласим фройляйн Иштар.

И грянет бал!
Взорвется время
Кумулятивным волшебством.
Ночное небо ждет прочтения,
Душа тоскует о былом.

Прощайте, братья по палате,
Никто отныне не спасён.
Король опять снимает платье...
Убит Дракон. Виват Дракон!

Rattenfänger

Разбежались дети по крысиным норам -
Бухенвальдам счастья виртуальных дел.
Исчезает контур звездных космодромов
В ядовитых красках клубных децибел.

Крысолов играет блюзы революций
С плазменных помостов новостных арен.
Выпей, друг мой, стопку фоторепродукций
И верни мне душу с чувствами взамен.

Престарелый Гамельн захватили крысы -
Эмиссары ямы, спекулянты блох.
Пытки, казни... После - суд и экспертизы.
Дудочка играет адский эпилог.

По колымским граблям на закат Европы,
На бегу - сомненья, котлован и боль.
Возвращайтесь, дети, в звездные утробы.
Это жизнь без смысла, как писал Жан-Поль.

Лабиринты связи в нитях Ариадны,
Задолжавшей пряжу готским паукам.
Вызываю пламя, но опять прохладно
В вавилонском сердце русским небесам.

Вдали от Расёмона...

Добро обнищало в роддоме любви,
Оставив Бертольдугу ситкомные зонги,
Мятежникам - мысли в формате «avi»,
А мне – пустоту интернет-монологов.

Товарищ Махатма, отдайте ружье,
Ваш папа не врач и не автомеханик.
Получен приказ хоронить вас живьем
На льдине, идущей враскоряк на Титаник.

На внутреннем фронте не жду перемен,
Там Вишну с Иисусом смеются в окопе,
Читая брошюрки про питерский дзен
И глядя на черный экран кинескопа.

Прогулки с поэтом на мост Мирабо,
Комок кокаина в больничной палате,
Потом – веронал, лабиринт, кимоно...
И вот я среди неотпетых собратьев.

Железное время эпохи Себя –
Детеныш кукушки в норе гуманизма.
И, кажется, будто скитаешься зря
По этой земле продавцов Эгоизма.

Alea jacta est

На шее моей поцелуй от верёвки,
В кармане - полтинник и пропуск в бордель.
Я, мама, как плавленый сыр в мышеловке,
Рыбалка в Америке, сон и форель.

Катаюсь по свету на крыльях Исиды,
Мне граф Калиостро двоюродный брат.
Мой рот, мои веки и мысли зашиты,
Но черти во мне все равно голоса.

Любовником был для издерганных песен,
Старался их кровью своей напоить,
Поэтому стал я им неинтересен.
Да, мама, пора в чевенгурность валить.

Я брошусь под поезд ушедшей надежды,
На чайковых крыльях пройду Небеса.
Я стал улыбаться все реже и реже,
И жить мне осталось всего полчаса.

Не смерти покой, но свобода и роды
Возводят над суетным телом менгир.
Я, мама, с тобой до прокофьевской коды,
Умерший еще при рождении Шекспир.

A l'ombre des majorités silencieuses

Этот город - харонова пристань,
похоронный смеющийся пристав,
Пастернак, Бунюэль, Бодрийяр.

Этот город прогнал до измены,
превратив бесконечность Вселенной
в заурядный космический шар.

Он не верит словам и молчанию,
пополам дарит горе с печалью,
находя в этом высший экстаз.

Он давно потерял свое имя,
как змея среди синайской пустыни,
превратился в библейский рассказ.

Это лимб, закольцованный в гетто,
где оборваны струны у ветра
и сожжен клавикорд пустоты.

Это церковь помешанных женщин,
где умерший всегда безупречен,
совершенен, знаком, опостыл.

Каждый день - причащение расстрелом
у стены, нарисованной мелом
окровавленной детской рукой.

Каждый день - возвращение в Помпеи,
где усыпаны пеплом идеи
на пути между львом и орлом.

Этим городом дышат убийцы
обреченные с ним не проститься
и святые на всех блок-крестах.

Этим городом можно напиться,
окрестив его третьей столицей,
сделать Римом на птичьих правах.

Note de suicide

Слова, как крылья альбатроса
Скользят над гладью пустоты.
Петля. Прыжок. Эскиз набросан
Из окровавленных вопросов
И бесконечных запятых.

Стихи, личины Асмодея,
Ведут незримый диалог.
Чем ближе к ночи, тем быстрее
Слова на воздухе стареют,
Из горла рвутся в потолок.

Из суеты, сквозь боль и страхи,
По спазмам детского волчка
Скользит античный амфибрахий
В кукле черного монаха
Скрывая сущность мясника.

Молчат рекламные проспекты,
Устало шепчут фонари,
Не разобрать их диалекта,
Когда луна, полночный лектор,
Безумцам пишет буквари.

Слова не обретают смысла,
Исповедальны и наги.
Им новый мир сейчас открылся
Лишенный чувств, желаний, мыслей
И заточенный мной в стихи.

Rencontre avec Lilith

Единопечально
проснувшись случайно
я встречу Лилит
в лохмотьях обид.

Молчит?
Конечно, молчит.
Потешно в кромешной
ночи безутешно
руками стучит
в осклизлый гранит.

И вновь на манеже
любовь.
А где же порезы,
протезы и кровь?
Несвежая грусть?
Пусть привкус железа
утешит ей пульс.
Вернусь?
Надеюсь проснусь.

И встречу Лилит
картечью обид.
Болит?
Конечно, болит.

Единопечально
в конце и начале
я снова проснусь
прочтя наизусть
и грусть, и себя.
Любя?
Скорее скорбя.

Charon Reggae

Отчаянно жалко, бездомно и тошно,
Но продал я Вакху вчерашнего я.
Теперь меня нет ни в грядущем, ни в прошлом.
Вагон. Карнавал. И вопрос бытия.

Налейте, друзья, мне полынного ветра,
Ячменную горечь июньского дна.
Пускай моя осень до гроба раздета,
Я всем все прощаю! Плесните вина!

В девичьем крещендо я таю дизелом,
Кубично размазана глоть на камнях.
И кто-то смеется нахально и трезво
Заметив, как сдался мой крейсер "Варяг".

Я продал вчерашнего я по дешевке,
Сжимая мундштук окровавленным ртом.
- Харон, вот оплата! Отвязывай лодку.
Сгоняем с тобой в магазин за углом?

Le dernier arrêt

Я выкину душу
 на свалку
 потрепанных книг.

И буду чуть суше
 чем ржавые тучи,
 как море,
 марлин
 и старик.

Налей мне мьгарства,
 Нечистый,
 до самых краёв,
 унынья с задором,
 чтоб кровь пошла горлом
 со струпьями
 спившихся слов.

Давай веселиться!
 Уже двести двадцать пошли.
 На крыше больницы
 улыбка искрится
 Джокоңды
 с усами Дали.

Я вывернут маем,
 повешен
 Полярной звездой...
 Шучу и взрываю
 последние сваи
 свою пропавшей душой.

Но
 исповедален
 до корчей своих пантомим.
 Печален?
 Печален
 от ям и до спален.
 Конечная - Ершалаим.

Отмеченный тьмою

Отмеченный тьмою не может быть светом.
 В душе, в глубине, в бессознательном где-то
 Свернется, затихнет и спрячется боль.
 Но кто-то случайно взломает пароль.
 И вот из каморки грехов и страстей
 Лениво, сощурившись, выползет змей.

Съедая саркомой прогнившее тело,
 Где каждая клетка уже омертвела,
 Распробует ламия душу на вкус.
 Однако свой путь из пороков, боюсь,
 Она не оставит и двинется дальше -
 По узкой дороге, к обители падших.

От боли захочется выжечь былое,
 Единое сделать деленным на двое.
 На две непохожих несчастных судьбы -
 Стезю Иисуса и путь Сатаны.
 Пока же дорога вещает одно –
 Открытое в небо восьмое окно.

Так будет чуть проще и, может быть, легче.
 Но снова февраль. Одиночество. Вечер.
 Пустые страницы, пустые слова
 И мертвые лица во тьме естества.
 Они что-то шепчут, они что-то просят
 За полем, где зреют ржаные колосья.

Отмеченный тьмою, утраченный светом
 Блуждает без тела в чужих силуэтах,
 Пытаясь найти в отраженьях зеркал
 Все то, что уже навсегда потерял.

Folie

Бессонница страха. Бессонница скуки.
Шептание. Скрежет. Скрипящие звуки.
Безумство ликует, целуя лицо
Ожогами будущих théâtre nouveaux.

Под саваном разума - мертвые души,
их тысячи тысяч и каждый задушен,
изломан, истерзан и предан не раз...
Предавший однажды и после предаст.

Они проникают сквозь черные щели
и ищут младенцев в пустых колыбелях.
Границы реальности кровоточат.
За ними дорога, ведущая в ад.

За ними – другие. Долина Еннома.
Знакомые стены Веселого дома,
игольная башня до самых небес.
А там –
обгоревший до свастики крест.

La maladie

Ты завтра проснешься, глаза не открыв.
В испуге вернешься, пытаясь найти
хоть что-то живое в остывшей груди,
но там только тьма и манящий обрыв.
Иди же, иди! Тебе нужно идти
туда, где в конце одинокой строки
ютится бескрайнее чувство тоски.

Стерильные мысли. Стена. Потолок.
Вокруг тебя люди, но ты одинок.

Молчание сердца - лекарство от боли,
безжалостно выпито страхом по капле.
Огонь и агония. Силы иссякли.
Внутри – голоса, как забытые роли,
но ты не актер. И не в этом спектакле.
Мышление – стертый каркас манекена,
Беседы – инъекции зла внутривенно.

Стенание. Крики. Фантомные чувства.
Так чуждо сознание. Так близко безумство.

Ты помнишь, как было? Ведь было прекрасно –
сомнения, радость и снег на щеке,
любимая рядом, слова на песке.
Был мир, было время и было пространство.
Теперь в опустевшем бездонном зрачке
погибшие тени нездешних небес...
O mi Deus! Vere Homo mortuus est.

Макеты, шаблоны и мертвые лица.
Пора навсегда с уходящим проститься.

Я - террорист

Attention!

Код тревоги - красный,

Лечу по черным переходам вниз.

Проклятья.

 Страх.

 Гремят фугасы.

В подвале - лики и гримасы.

У духовых, похоже, бенефис.

Хрипит земля, твердеет воздух,

Вокруг -

 укрепзаставы детских глаз.

Сбежать.

 Исчезнуть.

 Слишком поздно.

Душа под пушечным наркотом,

А в сердце

 аритмично

 лезет джаз.

Трещат хребты многоэтажек

Жилых массивов в шахтных головах.

Мы гибнем

 в играх

 "Наши-Ваши",

Уходим даром с распродажи

Под грозный рокот "...порохом пропах".

Прочь с улиц!

 Выключить газеты!

Я - террорист Свободы и Любви.

Дитя Арбата

 и Сансета,

Огнями Вудстока согретый,

С живым бомбоубежищем внутри.

La paix

На паперти неба безрукие с хлебом,
ругаясь молитвой
почти позабытой,
хоронят голубку в ковчеге-скорлупке.

А та, вырываясь
сквозь ярость и жалость,
сияет,
мерцает
и ярко пылает
огнями проспекта
и боекомплекта,
раздевшего город
в период разборок.
С осколками лета, наколками века,
уехав из дома
на грани излома
без цвета,
без вкуса
в пространство искусства,
мы просим от неба еще корку хлеба.
Но солнце, нас зная, скупых попрошаек,
кивает
за чаем
и вновь угощает
объятьем прощенья, суля возвращенье
в пустые пироги, плывущие к Богу.

Вот только голубку, убитую в шутку,
мне жалко до страха,
она под рубахой
жила у меня...

Осточертело!

Вечер вороний,
иней и смута.
Грустно кому-то.
Я - посторонний,
кайф на минуту,
боль без уюта,
запах ладоней,
бог
и паскуда.

Сумерки дышат
вышитым мраком.
Снова в имаго -
злым и осклизшим,
пропитым благом
в теле Живаго
снова быть
лишним
строчным бродягой.

Рваться из мяса
в ясное небо.
Серым на сером.
Смех и гримасы
снова над телом.
Быть между делом
дикобразом
осточертело...

Осточертело!

Le Mort-dispensaire

Так хочется жить нерасстрелянным детством,
плацкартным билетом на Вечный Концерт.

Вчера я стал мёртвым. Уже интересно.
Быть мёртвым - забавно, а вам разве нет?

На сцене L'amour раздевался до злобы,
жонглировал плачем за проданный смех,
стрелял наповал, но не так, чтоб особо,
и каждую смерть выдавал за побег.

Прощающий всё, ампутируй мне душу,
отдай ее тем, кого можно спасти.
А то, что осталось - гвоздями наружу,
чтоб всем по кусочку гниющей культуры.

Ломбард милосердия ждёт Беатриче,
ушедшую спать с Арлекино в партер.
А что там в финале? Весьма драматично -
инсайты тоски и Le Mort-dispensaire.

Прощающий все, обними на прощанье,
оставь чаевые гроши на глазах.
Вчера я стал мёртвым. Теперь - до свиданья!
До встречи с лежащею навзничь в цветах.

“Есхатон

Плачет старуха с прогнившим лицом.
Голос беззвучен, почти невесом.
Каждая фраза - сухая листва,
Только и слышно: "...жива, я жива..."

Рядом младенец, обернутый в саван,
С выжженной тенью от крестика справа.
Сломанной куклой лежит у камина,
Смотрит измученным небом невинно.

Сумерки. Крысы скребут за стеной,
Кашляет в спальне смертельно больной,
Шепчутся твари в утробе угла,
В коконах прячут лишенных ума.

Мертвая женщина с содранной кожей
В церковь идет, как на брачное ложе.
Черные кости, обуглено мясо...
Это прекрасно? Да, это прекрасно!

Кровью зашлись, хохоча облака,
Видя идущего к ним старика.
Черные бездны, глаза декабря,
Вечность, в которой себя потерял.

Завтра не будет, оно не настанет.
Вместо купелей – кровавые ванны.
Улицы. Пламя. Курганы из трупов.
Хочется верить, но это так трудно.

Все созданное человеком искусства является отражением окружающей действительности в его искривленном душевном зеркале. Поиском себя в обезличенном мире социальных механизмов и попыткой деформации общественной мифологии. Порой это звучит как сдавленный крик сквозь зажавшую рот ладонь, иногда – как глас вопиющего перед выключенной телекамерой, еще реже – предсмертным хрипом спившегося зрителя зоопарка. Искусство – это борьба человека с комфортом за счастье. Духовный гироскоп самопознания, указующий путь к преодолению личной несвободы и бытового однообразия. Путь, имеющий две конечные станции – Любовь и Смерть.

Для меня современная поэзия – это комната смеха, где в очередном приступе социофобии рыдает окровавленный Робинзон Крузо. Это сугубо интимный вид искусства, которому не место на заплыванных рекламных площадях и в душных панцирях ночных клубов. По мнению французского философа-постструктуралиста Ролана Барта, поэтическое воображение по сути своей не формирует, а деформирует образы. Это не означает, что оно превращается в выдающую нам масс-медийные пироги мясорубку миссис Ловетт. Ведь это не деформирование, а скорее уничтожение образов, путем упрощения и вульгаризации духовных ценностей. Именно то, что происходит сегодня в массовой культуре, когда ради двух комиксов в суперобложке и рекламного плаката со старых полотен литературы соскабливают краску и разводят ее синтетической копипастой «собственных точек зрения».

Деформирование (или как уже принято говорить «деконструкция») в искусстве – это уничтожение стереотипной оболочки образов, ради сокрытого под ней смысла. «Без катастрофы нет стиха, не бывает стиха, который бы не открывался, как рана, и который бы не ранил», – так писал еще один французский философ Жак Деррида. В одном из своих эссе он указывал, что, во-первых, «стих должен быть кратким, эллиптическим по призванию» и, во-вторых, иметь «сердце» – один маршрут из многих путей: «Дар стиха не цитирует и не вызывает к ответу, у него нет титула, он больше не лицедействует, он случается, нежданно тобой, и обрывает дыхание, порывает с рассуждающей и особенно с литературной поэзией». Подобным даром стиха в современной поэтической традиции обладают лирико-философские миниатюры (верлибр). Поэзия, лишенная вериг рифмы, строфики, изотоники, слогового метра... И если настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния, то пространство верлибра берет свое начало уже за его гранью.

На барахолке
вечерних бесед
нашел отцовские очки
над которыми
смеялся
еще мальчишкой

Провел пальцем
по иероглифам трещин
и сердце мое
вдруг
замерло

Я прочел
написанную
в глазах мужчины
грусть
тридцатилетней давности

Ту самую,
единственную,
что вчера пришла
ко мне

Объявление

В Дворце скорби "Дружба"
каждый четверг
проходят мастер-классы
по иудиным поцелуям

Цена билета все та же

На рынке труда

Ищу работу
по бурению
замочных скважин
на глубину
артезианских чувств

Пропуск

Блокпост.
Сутулый парнишка
держит Родину-мать
за локоть автомата

Требует пропуск
на ту сторону
пересохшей реки

Протягиваю ему
нательный крест
и
ухожу в небо

Похороны Купидона

Докурил
чужой скандал за стеной

Встречи
обеда
цветы
ласки
смех
разбились кухонной посудой
о принесенную домой зарплату

В каждом злом слове -
зазвенели осколки любви,
захрустели объятья,
взвыли поцелуи,
посерели признания.

Хлопнула дверь,
похоронив
еще одного Купидона
в фамильном склепе
одиначества

Soldat malgré moi

Рву повестку
из посмертного комиссариата
и
получаю
вне очереди
временное удостоверение
на эту странную жизнь

Не учтен
в бухгалтерской книге войны
не годен
к общественной строевой
НО
все так же
мирообязан

Embrasse-moi encore une fois

Держу твою руку
как перетертый канат
за краем вчерашнего дня

Подо мной
улыбаются скалы
обезболенных воспоминаний
и шьют гробовые простыни
нерожденные воды грядущего

Прохладные пальцы слабеют.
Обрываются нити.

Поцелуй меня еще раз
перед этой долгой дорогой
и
быть может
я снова обрету крылья

Vacuum

Среди истлевших афиш
и ящиков от боеприпасов
в загаженной клетке
под органом сердце
Переживший себя
усмиряет
Пустоту

Ставит чайник
движется на работу
мило улыбается знакомым
старается казаться полезным
привычно танцуя в висельной петле

Но в этой яме
нет Дна
Переживший себя -
и есть Пустота

На Станции

Путешествуя
бездомными коридорами
сентября,
остановился
на Станции переливания
крови и плоти
человеческой.

Покаялся.
Причастился.
Согрешил.

Стал равен
каждому
на этом прокрустовом ложе
из архивных листьев.

Но себя
так и не нашел.

La pierre

На сизифовой трассе
ловлю очередную попутку
до ближайшей подножной мечты

Но меня снова
кто-то заботливо
тянет на самый верх

Шепчет о звездах
прикасается теплыми руками
убеждает стать легче и податливей

Но я
камень
и
место мое
внизу

Глухой
безъязыкий
растерянный
колокольчик с рюкзака

В завтра
мы пели с ним
о мире
Со вчера
он приволок молчание
о войне
Сейчас
уютится в ладони
за прощением

Извини
старый приятель
но во мне ржавчины больше
ровно на два безмолвных счастья
и одно одиночество

Переход

Стрелочные переводы
с диалекта оправданий
на язык вины
приводят на
одну и ту же
зброшенную станцию
душевного метрополитена

Ты закрываешь глаза
и ожидаемо повторяешь
свой монорельсовый путь
слов
действий
ощущений

Остановка.
Две недели осени.
Переход на другую ветку
привычного безумия.

Аргонавты

Вновь
и вновь
ускользаем
за ржавым руном
к трехзвездочным берегам
Истины

пропиваем
в ближайшем порту
Арго и доспехи
бежим с Медеями
от спящих ящеров
на скамейки
и примеряем
отравленные одеяния
друг друга

Нам никогда не вернуться домой
мы -
не Одиссеи
у нас даже нет Итаки

Ravitaillement du blocus

Заиндевшие листья
в потрепанном томике Бодлера
для аппликации чувств
и
ментоловые паутинки
на кухне застывшего временем
в двадцать минут шестого

Вот и весь
наш
блокадный паек
на ближайшую
бесконечность
зимы

Розенкранц
жадно высасывает
из сердечной губки
остатки чьей-то боли

Гильденстерн
весело насилует флейтой
ненаписанный реквием
для оркестра тишины

Из века в век
они приходят
на один и тот же
занятный спектакль
чтоб отыграть свои роли
считая себя лишь наблюдателями
но неизменно оставаясь соучастниками.

Однако занавес
накроеет всех -
и зрителей
и актеров

Le voyage

Покидая
пятиэтажную раковину
улитка
превращает ее
в дирижабль
и
продолжает покорять
уже небесные склоны

У январских ларьков
встречает
Живоподобных
обсуждающих
покрыой саванов
и сайдинг склепов

Под надгробиями книг
замечает
Бессмертных
утративших себя
в чужих беседах
и искусственных глубинах

Улитка
летит туда
где драконы
впадают в спячку
чтобы снова стать
улитками

Ищу выход
в коридорах
без дверей

Принимаю
таблички указателей
за произведения искусства
восхищаясь шрифтом и слогом

Говорю с эхом
повторяющим мои вопросы
которые в пустоте кажутся
чужими разговорами

На углах
подбираю хлебные крошки
леплю дубликат ключа
потерянного
еще в детстве
и лишь входя
в помещение с механизмами
понимаю
он - не от дверей

Из этих часов
нет выхода
и я вновь
запускаю
маятник

Остановка

Остановись,
идуший на месте -
оно и так забронировано
на две твои смерти вперед

Теми,
кто разучился видеть

как камни
молодеют в песок,
как великаны
просыпаются карликами,
как отражения
презирают свои зеркала

Остановись,
твоя Дорога
еще в пути!

Пробуждение

Когда книгами подпирали
обеденные столы
я хотел стать писателем

Когда в твоей квартире
получила прописку Пустота
я стал учить мертвые языки

Когда грустная женщина
принесет мне цветы
я окончательно стану надгробием

Что я делаю сейчас?
Просыпаюсь.

Непогода

Друзья не покидают нас
в автобусах и поездах.

Их корни остаются
в коконах наших Домов.

Они - стены,
держашие улыбками
небо.

Они - двери,
хранящие тепло
сердец.

Они - крыши,
создающие музыку
в ливень.

Автобусы и поезда -
лишь непогода,
обрывающая на время провода.

Тсс
тише
тихонько

не спугни
глухим словом
заблудившееся
на панихиде суеты
плачущее счастье

оно
не спасет
не согреет
не выведет
из этого круга
предопределенности

Но это единственное
ради чего
мы еще
здесь

Le rendez-vous

Опаздываю на свидание.

из рук
выскальзывают деньги

из губ
вырываются проклятья

в пятки
уходит сердце

А она все ждет,
улыбаясь
из-под капюшона.

В его парадных
нет ступеней
а у дверей
не стоят
улыбчивые
швейцарчики

Здесь
все лифты
идут только вниз
до пересохшего
дна Стикса
где спят
звезды

Он был
варьете
детдомом
казармой
кабаком
музеем
скитом

У него нет адреса,
сюда не доходят письма
но прийти к нему может каждый
ведь дорога хорошо известна

многія скорби

La fenêtre

Окна в полночь –
галерея
квадратов Малевича

Окна в полдень –
змеиные норы
и
зрачки
сумасшедших

Между "до" и "после"

В эры проливного ожидания
с горькой настойкой
из томления
и вины
приходят
знакомые призраки
прошлого и будущего

Жгут костры тщеславия
на дровишках самомнения
а в антрактах посыпают пеплом
свежие могилы нерожденных надежд

Секунды
минуты
часы
дни

Хоть кто-нибудь
подарил бы зонт
до востребования
до следующей станции
до и после Конца Света

Nigredo

Лужи цвета печали с молоком
меланхоличный разрез фраз
бескрылые хищные объятия
молчаливый ком ладоней
безпоминальная горечь
недочитанный май
ночь на выдох
спазмы снов
расплач
и
лицо
с улыбкой
висельника
на каждый день
без запятых и себяточий

Из секунды
в тысячелетие
потерянными поколениями
сутуло идет маленький человек
опутошенный своей печалью и надеждами

Судорожным узелком тихого троеперстия
прижимает к сердцу свои невзгоды

Так мать подносит мертвое дитя
к горячей груди с молоком
говорит с ним
не плачет
любит

Этот незаметный бродяга
с вышитой в глазах тоской
не боится своей смерти
обнимая спины прохожих
и веря обещаниям
дождевых рыб

Последний
печальный
человек

L'essai

В попытке
поэтического крика
задохнулся
молчанием
чистой страницы

Сны
не приходят

Знобит рифмами
между
кровоточениями чувств
и судорогами тоски

Не могу сбить
температуру отчужденности

Все
жаропонижающие слова
просрочены

Дороги замело
равнодушием
Скорые
не доедут

Но
от этой болезни
никто
пока еще
не умер

Могила

На распродаже чужих сердец
нашел
кувшин
с осенней водой

В нем не было ничего
кроме
одинокой могилы
отраженной
в твоих глазах



малая проза

Le Remède contre l'alcool

Как-то я уже писал, что алкоголь — это инкубатор человеческих желаний. Пристально пытаюсь понять очередную бутылку вина, стоящую на пороге ведьминога часа, можно раскрыть ее до самого дна. И вот она, последняя капля, которой так и хочется сказать: «Привет, малыш! Может, хотя бы ты знаешь чего я сейчас хочу»? Желания — это то, что заперто в верхнем ящичке вашего сознания, одновременно находясь и в нижнем. А что же такое алкоголь? Ни что иное, как отмычка, которой мы взламываем сейфы самих себя и разбрасываем находящиеся в нем безделушки. У кого-то они опасные, у кого-то — милые, а у других там лишь копейечный звон Пустоты. Однажды, взломав хранилище желаний знакомой продавщицы фиалок, я чуть не обжог себе усы выпрыгнувшим оттуда солнцем. Да-да, настоящим июльским солнцем, от которого не спасают даже самые темные очки, сколь круглыми бы они ни были. В другой раз, ящичек одного из приятелей и вовсе рассыпался, а оттуда живым бисером слез ринулась стая зеленых гусениц. Да таких шустрых, что шесть его друзей не могли их собрать даже за три дня. Ящичек склеили и с алкоголем человека больше не знакомили.

Против алкоголя зонтики бесполезны. Вы скажите, что это слишком самоуверенное заявление, а я не стану вас переубеждать. Переубеждать человека — все равно, что раскачивать лодку в пустыне. Я когда-нибудь вам рассказывал о трех христианах, пытавшихся проделать это в песках Кара-Кумы? Нет? Так вот, они ее раскачивали до тех пор, пока песок не просочился сквозь дыры в корме и они не утонули в безбрежных волнах высохшего тысячи лет назад океана. Самое удивительное во всем этом то, что все трое не были христианами. Первый оказался торговцем из Сибири, везшим на рынок Самарканда семьдесят соболиных шкур. Второй — забьгой на ступеньках английской подземки деревянной куклой первоклассницы. Ну, а третий вообще до неприличия превратился в седобородую женщину и выплыл возле Большого кораллового рифа с последней рукописью Чингиза Айтматова.

Что же может помочь против алкоголя? Могу поделиться рецептом пана Кшиштофа из Гданьска. Для начала возьмем Seven Nation Army, добавим три абзаца Дино Буццати и для остроты — прикосновение, живущей в предместьях Ганновера блондинки. Все это смешаем против часовой стрелки осенними деревьями Эгона Шиле и получим прекрасный антиалкогольный коктейль. Правда, есть и побочный эффект. Вы неожиданно откроете спонтанную способность видеть глазами человека, который засыпает на другом конце мира. Очнувшись, он так и не поймет почему стоит возле открытого окна, смотрит в осеннее ночное небо и соединяет две последние звезды несуществующего Ковша. А еще в его сознании появится ваш ящичек.

Но вряд ли он заметит это "прибавление".

Вторая половина сентября горчит заваренным сухостоем полыни в граненом стакане будней. Врезается в сознание невидимыми витыми растяжками, зацепив одну из которых ты вдребезги разносишь свой ящик Пандоры. Тот самый, где престарелая куртизанка Память хранит нестиранные хитоны привидений и головы персональных всадников Апокалипсиса. Это время, внутри которого дни превращаются в экспонаты Музея душевного самоедства. Словно перечитываешь школьную записку, набросанную тобой симпатичной девчонке за соседней партой на уроке алхимии в 10 классе. Нежданно-негаданно найденную в летней кухне родителей между коробкой с "Монополией" и какими-то электронными ("оставленными на потом") платами. Из отдаленных уголков сознания выползают небритые воспоминания прожитых лет. Нечто туманно-циклопическое нависает над разумом ежеминутно. Ежесекундно. В перерывах между вздохами. И мир превращается в череду вторых половин сентября.

Люди, события, места и состояния - все это незаметно, но цепко, заключает разум в кокон некоей сумеречной ирреальности. Путаница мыслей - первый шаг к настоящим чувствам. А небо, ландскнехт в серых доспехах его величества Максимилиана I, перемальывает эти хлопья высушенных переживаний с чайными пакетиками несуществовавших воспоминаний. Лепит тебе замену - голема. Тревожно на душе. Случайный камень или мозаика из опавших листьев вносят в ход мыслей сумятицу и что-то сжимается внутри. Друзья приходят во снах, чтобы предстать в образах фантастических зверей и искалеченных птиц. И сам ты уже лишь утренний иней на стекле опаздывающей к воротам Преисподней электрочки.

Только сегодня удалось выспаться. Выспаться от всех летних глупостей и стремлений уйти в Дорогу. Жизнь превратилась в череду поездок-разговоров-проблем-их решения-забытья. Все это настолько туго переплетается в безумный клубок реального/нереального, что трудно представить, что его можно как-то распутать. Казалось бы, ну вот и правильное решение всех твоих проблем, вот-вот должно все стать на свои места... Ан-нет, появляется нечто новое, что, подобно паразиту, высасывает до последней капли всё твоё время, силы и ресурсы. Хочется закрыть глаза, развернуться и уйти от этого. Увы, чем дальше движешься по конвейеру быта, тем больше нитей спелёнывают тебя на этой самодвижущейся ленте. Стаканная полупустыньность с полынным чаем.

И тут часов в 11 после четверга из-за туч выходит осеннее солнце. Разрывает на части восприятие окружающего. Рвется к корням мыслей какой-то новой реальностью и требуют идти за собой. На новый круг....

Уже сейчас, будучи на изломе очередного осеннего десятилетия, я осознаю, что самым страшным периодом моей жизни было детство. Кошмаром, который нет-нет, да и сдирает еще по ночам заживо кожу, чтобы днем принять уютный и благонравный вид воспоминаний. Временем, когда отчаянно верил, что соседские чердаки населены потусторонними существами. Когда с упоением исследовал заброшенные сараи и придавал мистическое значение углам. Когда все казалось проще и не хотелось расплести узлы чьих-то якорей. И каждый раз во все это врывалась чужая, взрослая, реальность. Волшебные палки, война с муравьями, разговоры с животными - все было интересно, пока ты не попадаешь на глаза взрослым. В их голове все твои действия должны были выглядеть логичными и приносить пользу их миру. Тебе же было, по большому счету, наплевать на то, что о тебе думают и чего хотят. Ведь ты точно знал, что где-то там, наверху, есть Нечто Всевидящее, что всегда поможет и выручит тебя. А когда не помогало – ты искал причины его молчания в себе.

Это было жестокое время, в которое хотелось верить и которое спустя годы обрушилось на тебя тяжестью театральных декораций. До последней капли сказки ты сражался за свое право остаться в мире волшебства и мистических откровений, но враг был сильнее, и пришлось отступить. Пришлось принять Правила игры, которая была изначально неинтересна и не сулила ничего кроме смерти. Мир стал плоским, бесцветным и безвкусным. Ты превратился в серую, безжизненную кашу, постоянно тоскующую по утраченному чуду и волшебствам одиночества. Лишь во сне или играх можно вернуть ныне сгнившие среди одежд взрослости мечты и интересы.

Глядя на детей, ты краем сознания возвращаешься в свое детство, но сейчас оно выглядит не лучше, чем Микены. Какие-то черепки, осколки, пророчества над бочкой с плесенью и сокровища из пивных крышек. Невыразимо больно осознавать пропасть, отделяющую тебя от того малыша, для которого главным было построить крепость на подоконнике и сражаться с вероломным противником до последнего ее защитника. Или того, что ходил за польскими грибами к большому дубу, позднее оставшемуся лишь в коридорах-галереях Морфея. Детство - это хрустальный гроб, к которому изредка возвращаешься, чтобы выплакать свои взрослые обиды. Гроб, из которого вырос ты сам и ушел странствовать в поисках комфорта и мамино-папиных "так должно быть".

Уже сейчас, будучи на изломе очередного осеннего десятилетия, я осознаю, что самым страшным периодом моей жизни было детство. Ведь оно не дает мне жить. Без него нет – меня, а оно потеряно безвозвратно.

Никогда не носил шляпу, но, повстречавшись в переулке шахтерского поселка с октябрьским небом, я искренне об этом пожалел. В тот самый момент я осознал зачем мужчины на протяжении столетий оберегали эту ритуальную часть своей одежды. Неожиданно захотелось снять с себя головной убор, в почтении прижать его к груди и склонить голову перед явившимся среди архивных красок природы великолепием. Мрачнейшие полотна Гойи уступали облику случайно зашедшего в этот забытый чулан цивилизации Его Величества Пасмурности.

Я ничего не спрашивал. Просто стоял, онемев от многообразия серого, застывшего адамантовой жидкостью в небесной сфере. С жадностью запоминал каждый облачный шрам в матовой шкуре распластавшегося надо мной василиска. От жилых кварталов Города к нему тянулись ватные щупальца из дымовых труб котельных. Силились обхватить, смять, прорвать этот мышиный чугун. Напрасно. Чудовище сонно и величественно растворяло в своих бескрайних складках все теплое и светлое. В этот момент все казалось каким-то незначительным, мелким и недостойным мыслей. Чудовище заполнило своей печалью не только небо, но и мое сознание. Я чувствовал его промозглую серость даже в похолодевших ладонях.

Минут через семь я оглянулся. В своих чувствах я был не одинок. Ссутулившиеся шахтерские домишки тоже напряглись и онемели, отмахиваясь черными субтильными хвостами из печных труб от нависающего монолита. Вокруг все дрожало от концентрации ирреальной природной энтропии, разлитой небом по земной безысходности. Сделав шаг, я вышел из этой трещины между мирами. Вокруг снова был самый обычный шахтерский поселок. Снующие по дворам птицы и перекатывающиеся по дорогам легковушки. Насыпи угля, мутные лужи и затерявшиеся в листве орехи.

Я ушел из той случайной галереи Пасмурности. И вряд ли я запомнил где расположен тот переулок. Но небо-василиск... Я чувствую его до сих пор.

Mon novembre

Дрожащие руки, сминающие сигаретный фильтр в очередную мертворожденную надежду. Это мой ноябрь. Дарственная надпись чахоточного неба на форзаце купленного у букинистов томаика Вильяма Блейка. "Радости не смеются, печали не плачут". Но вокруг туман. Тяжелый, давящий отрезанными от ноябрьских облаков крыльями, смог. Ритуальный затупленный серп, продавливающий грудь до самого сердца. Крионист переживаний и душевных порывов. Который день этот уродливый жнец растворят в своем едком вареве все то, что я привык считать своим "Я".

Никогда не испытывал столь глубокого отвращения к ноябрю, как сейчас. Своими холодными узловатыми пальцами разговоров и объятий он вытаскивает мое так и не переродившееся сознание на стол небесного мясника. Пронзает мягкую кожу потерянности, загоняет стальные крючья под ребра и тянет к нестиранным шторам тропосферы. Высасывает последнее тепло через полимерные трубы ноябрьского Deus ex machina. А здесь остается пустота. Гудящее Ничто, в котором бьется сердце, течет кровь, извиваются инстинкты и перфокартами застывают мысли. Оно не сжимается, не расширяется, не меняет своих космических свойств. Просто холодно и пусто.

Вы здороваетесь со мной? Нет, вы приветствуете гомункула, сохраняющего физиологические функции обычного человека. И у каждого из вас есть уникальная возможность высказать Ноябрь личное почтение. Посмотреть в черную жижу покинутого рыбами пруда, где кислотами воспоминаний растворены желания и стремления. Попробуйте кинуть камень - и вы не увидите привычных на поверхности кругов. Поверхность плотно склеена с туманным небом. Слово губы, иссохшего под лучами солнечного затмения мертвеца. Эти губы можно целовать, но стоит ли? Правильней - закрыть мутнеющие кофейной гущей глаза.

Я знаю, что ноябрь - последний месяц этого десятилетия.
Дальше - эпоха Вакуума.

Ça n'est pas la première neige

Эта осень уже больна снегом. Кашляет вороньими глотками сквозь тяжелый и сырой воздух автобусных остановок, выглевывает на дороги вязкую мокроту ледяной каши и температурит сжатыми чувствами уходящего ноября. Снег неизменно убивает осень. Из года в год, происходит это жертвоприношение под липким саваном небесных вод. Таинство первого снега. Одновременно страшная и прекрасная мистерия. Привычная для любого живущего здесь человека, о тайном смысле которой мы перестаем думать, становясь взрослыми.

Для моего города это был уже не первый снег. И выпал он снова ночью. Но для меня... Да, он был черным и белым одновременно, как пелось в одной песне. И я вышел на балкон почувствовать это откровение природы, данное каждому для дальнейшего перерождения. Я ощутил кожей лица холодные шаги снега, таявшего, но продолжавшего свой путь по моей спине и рукам уже невидимыми призраками тревоги. Снег превратился в волны темного света, проходившие сквозь сознание и смывавшие грусть и разочарования осени. Он тихо накрывал опавшую листву переживаний и растворял в себе обнаженные ветви души. Снег шел тихо, словно сам принес в этот город тишину и покой.

Замерзшая вода подарила еще одно чувство. Одиночество. Невообразимое, бескрайнее и леденящее все естество ощущение жизни, свободы и ненужности этому миру. Словно природа с помощью снега помещала твой внутренний мир в сосуд для летаргического сна. Переждать, переболеть, перейти на другую сторону бесконечной реки по тонкому льду. И стоит только протянуть руки и ухватиться за плотные портьеры ночи... И можно будет попасть в закулисье это мира абсурда и безразличия.

Утром город выглядел уже по-другому. Картинкой для сочинения пятиклассников, объектом восторгов литераторов рифмованной поэтической традиции и бедой для коммунальщиков. В этом снегу уже не было меня. И осени.

Все, без исключения...

Очень сложно понять девушек.

Легче, да и куда более безопаснее, попытаться проникнуть в теологические хитросплетения ордена розенкрейцеров, нежели уловить ломкий хвост мыслей, коими изо дня в день одаривают наш разум эти юные особы.

Все, все без исключения.

И те, что мило улыбаются, сидя напротив в троллейбусе, и те, что по-деловому протягивают квитанции через окошко кассы. И те, которым нужно рассказать о гнетущем чувстве одиночества, и те, что напропалую щебечут о витражных красках. И вот та, в узких джинсах цвета утреннего молока, и та с томиком Бротигана в холодных пальцах, и вот эта – вырывающаяся арматуру из развалин. Конечно, и эта тоже, приносящая абрикосовым днем два бокала уставшего пива, и вот эта, что никогда в жизни не слышала песни «Tomorrow Never Knows».

Их всех, всех без исключения, очень сложно понять. Но нельзя не любить.

Вот... кажется, Анастасия. Лицо которой уже само по себе говорит о том, что когда-то на Земле жили тысячи беглых ирландских каторжников, любивших имбирный эль и веселую джигу. А вон – Ольга, с зажатой между пальцев кленовой трубкой. Тонкие запястья рассказывают странные истории о всадниках южных равнин, смотревших каждую среду на луну. Или... Александра - столь влюбчива, что каждый день подходит к календарю и спрашивает – с кем у нее прогулка по парку, кафе или занятия йогой. Каждый сантиметр ее тела хранит строгое молчание северных скал, но в сердце пляшут оливковые искры океана.

Я люблю девушек. Их невозможно не любить.

Молчаливых, играющих на гитаре, засыпающих, желающих любви, хранящих письма трехлетней давности, идущих по ржавым рельсам, ждущих троллейбус, играющих с кошкой, засыпающих под звуки осеннего ливня, везущих по тротуару детей, смотрящих на четвертый этаж заброшенной школы, предлагающих вино, осуждающих курение, борющихся за права, загорающих на пляже, стоящих спиной, зажигающих свечи, собирающих яблоки, беловолосых, прыгающих, храбрых, зовущих на обед, с накрашенными ногтями...

Уж и не знаешь – проснешься ли в этом потоке мыслей, которые изо дня в день столь сложно понять.

Осколки эпохи настоящих вещей

Становится немного грустно, когда видишь выброшенные на помойку старые деревянные окна. Кусочек эпохи настоящих вещей уходит по извилистой узкоколейке времени, как и сама Эпоха настоящих людей. Из-под бело-синих чешуек краски проглядывает морщинистая древесная плоть, двадцать-тридцать лет подряд хранившая от окружающего мира маленькие и большие бытовые трагедии советских семей.

В жизни этих кособоких стражей бывало многое - пощечины закрывающихся на морозе форточек, стеклотрясения от ударов больных птиц и опутинивание мертвых насекомых в межрамном нутре. А иногда дети клеили на стекла бабочек и окна превращались в магический телескоп в другой мир. Стекла хранят сотни, тысячи и сотни тысяч взглядов эпохи настоящих людей. Тех, кто любил смотреть на мир не через телевизор или монитор, а сквозь слегка запыленные деревянные окна.

Окна, пропускавшие некондиционированный воздух, непятиканальные звуки, неосвежительные запахи и еще что-то такое, что с каждым годом мы все больше и больше теряем в своих псевдоевропейских каморках.

Циферблат сошел с ума. Вернее, дал задний ход, сойдя с хода привычного. Время остановилось, зависло, сгустилось и стало желейным, как семь с половиной километров по знойному июльскому шоссе пешком. Почему? Из-за необоснованного чувства страха перед следующей жизнью. Я давно уже понял, что у жизни нет этапов. Есть переходы в другие субъективные реальности существования. Другие жизни одного Человека - ощущаемые иначе, складывающиеся из иных "кирпичей" окружающей среды. И замечаешь это только тогда, когда "жизнь" прожита. Сожжена до последней квитанции об оплате за тепло, печаль и откровения. Когда покоится холмиком неосевшей земли над деревянной крышкой Про- и Пережитого. Цветов там еще нет, но на кресте уже черным по жестианке выбиты даты рождения и ухода в память.

Бывает, что переслушаешь альбом каких-то (ну очень приятных твоему морскому дну) ребят спустя, скажем, полгода и ловишь себя на мысли... Нет, не мысли, а ощущении, что в первую неделю-две прослушивания их композиций, ты воспринимал мир немного иначе. Слова хирургическими иглами через образы тянут из прошлого иную перцепцию, отбивающуюся искрами даже в кончиках пальцев. Я всегда в этом видел нечто мистическое - спиритический сеанс общения с самим собой, оставшимся по Ту Сторону. Галлюцинирование своим "Я", покинувшем тайком отчий дом, а потом постукавшимся в Двери Восприятия, чтобы напомнить о себе, выпить чаю с ежевичным вареньем и снова уйти в пласты реальности теней. Но уловить сам момент ухода из одной Жизни и рождения в другой - никогда не мог. И тут... циферблат сошел с ума.

Я никогда не верил, что в восприятии может что-то произойти подобно взрыву 13-18 килотонн тротила, равных преобразованию в энергию 0,7 граммов материи. До этого самого момента, когда время остановилось, зависло, сгустилось и... Я хочу жить. Этой новой жизнью, где руки касаются струн, словно ты впервые слышишь крик твоей новорожденной дочери. Где хочется слушать новых людей, выпускающих словами излеченных на волю стрижей. Где воскресные книги старых писателей опять протягивают тебе руку в Дорогу. Страх? Да, он есть и вполне обоснован. Но этот страх - неизменный компонент любого перехода в Неизвестное, которое станет следующей Жизнью. На пути из новых ошибок, очарований, ненависти, упреков, задержки дыхания, откачивания после передозировки тоской, реанимации, дружбы, попыток самоубийств, минут покоя и смеха. Змея кусает хвост другой змеи. Из одной появляется другая и так по кругу всю жизнь.

Но теперь я видел момент Появления.

Трудно спорить с тем, что самое страшное в этом мире мы видим в зеркале. Каждое утро, заглядывая в этот прогнивший от сырости подвал, обещаешь себе – сегодня же вечером я наведу там порядок! Но вечером ты скидываешь туда еще какой-то хлам и еще, и еще.... А кто-то из мимо проходящих заглянет в эту бездонную яму и непременно скажет «Эй! Да у тебя там настоящий свинарник!». А потом выбросит туда и еще что-то свое - поношенную веревку для виселицы, чучело прирезанного в пятницу оборотня или пустую банку из-под психоанализов. Вы, безусловно, напьетесь и в приподнятом настроении попытаетесь спуститься в эту скорбную обитель забытых неудач и велосипедных открытий. Будете смеяться над изрезанным портретам бывших подружек и кидать заточенные карандаши в запыленные тома мертвых немецких мыслителей. Но утром ты все равно подойдешь к зеркалу и с горечью взглянешь на лестницу, ведущую в этот Богом забытый подвал.

О, этот чудесный веснушчатый альтруизм дам сердца! Сколько раз они силились навести в твоём подвале порядок, пытаясь собрать весь тамошний хлам и выбросить его на крышу проезжающей электрички. Но пока милые энтузиастки дотаскивали мешок с барахлом до крыши, ты прорезал размером с ахиллесову пяту в его днище дыру и вытаскивал весь хлам обратно. Через пару минут ты, конечно же, ругался с этой новоявленной Матерью Терезой, а после рисовал угольком своего выжженного сердца ее портрет на ткани воздушного змея. Тот самый портрет, который через неделю займет свое вполне предсказуемое место в подвале между ящиками со свинцовыми трусами и маминной любимой вазой для натюрмортов. И сколько таких полотен ты оставил гнить под протекающей водопроводной трубой Андре Мориса? На самых ранних из них уже мало различимы черты лиц. Тебе хочется знать, что они были смазаны плачущими нарисованными глазами, но на самом деле угольные краски нашли себе более подходящее место – в тараканьих норах у парового котла.

Каждое утро ты смотришь в разинутую пасть своего малобюджетного подвала и обещаешь его сжечь ко всем чертям. Правда, до сих пор так и не понял, что если черти там и заведутся, то твой подвал превратится в малогабаритный филиал Преисподней, где весь твой хлам послужит неплохим топливом для персонального котла. Приглядиись внимательней. Быть может, зеркало показывает тебе не подвал, а настоящую гробницу? Только окон в ней нет – там выход в еще один такой же подвал. Сеть лабиринтов и полупустых катакомб.

Quart de siècle

Когда-то мне было четверть века. Много ли это? Да как сказать... По возрасту вроде и больше, чем любому из бродячих псов, но меньше большинства из любимых мной книг. Вермут в подъездах, мелочь в карманах и уже изрезанная воспоминаниями восковая душа. Тогда я себе казался случайно попавшей на проезжую часть страницей из романа Рэя Брэдбери. И думал, что ветер проезжающей мимо попутки поднимет меня вверх, я прилипну к боковому стеклу какого-нибудь желтого троллейбуса, а пассажиры начнут с упоением читать написанное. Не поднял. Не прочитали. Размок.

Еще я любил зеленый чай. В термосе. На рельсах. В пропитанном озоном воздухе. Любовался, как акварелью растекаются над городом тучи, вникал в танцующие узоры степных трав и смотрел на подходящую с букетом полевых цветов девушку.

Молчать. Пить остывающий чай. Говорить о книгах, музыке и забавных случаях

Так останавливалось время. Раскрывался зонт и под неритмичные удары крупных капель начиналась еще одна история. Бисеринки слов одна за одной нанизывались на леску минут, связывая воедино время и пространство.

Закрытые глаза. Голос девушки звучит, как шуршание песка в часах из богемского стекла. Я слышу его даже сейчас. Те же истории и небылицы. Сюрреализм Бретона, нарисованный жизнью шахтерского поселка и растворяющийся в грозном сиянии неловких пауз. Магическая деструкция, разрывающая холст обманчивой самоочевидности обыденного.

Синие ленты в волосах.

Прогулка в мокрых кроссовках вдоль ржавых змеящихся дюкеров и споры о жизни. Довольно простые, незатейливые с щепоткой горечи и июньского разнотравья. Возвращение. К своим проблемам, рабочим хлопотам и лягу железных занавесов.

Мне когда-то было четверть века. Я не помню каких-то психологических изломов. Не знаю, что там выдумывают о возрастных кризисах и проблемах социальной адаптации. Я помню чай. Рельсы. Дождь. И девушку с синими лентами в волосах.

Единственный путь в небо

У всякого моря есть свой предел. Можно долго скитаться по водным просторам, наслаждаясь ветром, криками альбатросов и таинственной глубиной, куда так никогда и не нырнешь. Наполнить карманы парусной романтикой и грызть сухарики в ожидании цинги. Можно даже одичать, став загадочным призраком без головы, наводящим ужас на жителей тех островов, мимо которых течение пронесло твою посудину. А, в конце концов, поселиться на острове белозубых южанок, являясь им во снах гнедым кентавром в сиянии полной луны. Можно стать морским волком, присягнув на верность Ее Величеству Медузе с полуострова Туманных Башен, и топить во славу темных богов пузатые галеоны напыщенных скупердяев-купцов. И все из любви к морю.

Мифическое информационное поле, в котором мы все нонче варимся, представляется мне как раз чем-то вроде вест-индийской акватории века эдак XVI-XVIII. Вся жизнь - морская стихия. Одно печалит - голубизна моря, вызывающая восхищение прожженных мореплавателей, всего лишь отражение неба, на которое редко кто из одноглазых пройдох пристально смотрит. Ведь оттуда они ждут лишь попутного ветра, штормовых набегов или штилевой комы. Небо моряки всерьез не воспринимают. Ведь жизнь здесь - среди волн, морских чудовищ, "летучих голландцев" и портовых девок. А в небе... неизвестность, пугающая мифами о небожителях. И лишь горизонт не врет - море и небо сходятся.

Наверное поэтому я и хотел бы смешать воедино небо и море, сплавив их голубизну в единую картину. Без отражений, но с постоянным проникновением в неизведанное. Как и профессор Шарль Швейцер, дедушка Жан-Поля Сартра и большой любитель театральных эффектов, я пришел к довольно простому выводу - поэтическое созерцание выше философии. Ведь именно поэтическая часть человеческой природы это то, что наделяет наши корабли и плоты воздушными парусами. То, что позволяет покинуть пределы моря и выйти в небо. Расправив полотнища, исследовать неизвестность и прокладывать путь к звездам. Вне агрессии, власти и ненависти. Ведь даже философия падка на эти человеческие слабости. Впитывает, перерабатывает, оправдывает и даже облачается в поэтическую форму. Но вот поэтическое созерцание - это единственный путь вверх. Я не шучу. Именно это умение проникать в воздушные просторы способно побороть морскую спесь и вернуть человека в единственную его Родину - внутреннее Я. Те самые бессмертные земли, от которых нас все дальше и дальше уносят морские просторы.

Быть Горловчанином

Довольно часто меня укоряют тем, что я пишу исключительно о Горловке. Мол, что за местечковость? Почему не смотрите глобальней, не выходите за рамки одного города? Разве нет других мест и событий, достойных вашего внимания?

Есть, но я стараюсь писать о том, что близко мне. О том, что я знаю и чувствую здесь и сейчас. Поэтому еще раз... о том, как это - "быть горловчанином". Мне кажется, для такого рассказа осталось не так уж и много времени. Мирного времени. Называйте это шестым чувством, или синтетическим априорным суждением. Но большинство горловчан уже ощущают в воздухе неприятный и тягостный запах войны. Крепы самообмана, сдерживавшие понимание близкой военной пролонгации, трещат под натиском прифронтовой реальности.

Ужас просачивается сквозь тени и шёпоты.

Быть горловчанином - значит, жить с коконом боли вместо сердца. Помнить звериный вой артиллерии, надсадный стон разлетающегося бетона и асфальта, звон бьющихся стекол и визг металла. Помнить кровь раненных на своих дрожащих ладонях, побелевшие от страха детские лица в подвалах и коридорах, бешено рвущееся из груди собственное сердце и тела недобежавших до подъезда соседей. Все то, чего не покажут по телевизору жаждущие live-хардкора журналисты.

Быть горловчанином - значит, со страхом ждать Пасху, потому что на "большие праздники" опять начинают стрелять. Плакать на утро после всенощной и благодарить Всевышнего, что в эту ночь на город не упал ни один снаряд. Не считать себя особо верующим, но заходить в пустую церковь и ставить свечку, потому что другой надежды, кроме как на Бога уже нет. Бессильно опускать руки, узнав, что городские кладбища заминированы и ты не сможешь навестить могилу отца с матерью, не прикоснешься к их надгробию, не произнесешь над ними и двух слов.

Быть горловчанином - значит, ходить на работу в больницу под грохот гаубиц, а потом выслушивать байки о своем врачебном садизме. Бесплатно лечить, учить и помогать - не надеясь на чье-либо "спасибо". Ехать через линию фронта за пенсией, выслушивать на блокпостах о том, что ты "не достоин Украины", и настойчиво отгонять мысли о противотанковых минах. Безнадежно объяснять по телефону родственникам кто и откуда стреляет, слышать их насмешливый тон или слезные увещевания уехать.

Быть горловчанином - значит, выехать из родного города и не находить себе места. Никогда не тосковав по нему ранее, начать вдруг вспоминать его

улицы, площади и скверы. Не понимая, чувствовать, что ты что-то в этой жизни потерял. Ощущать, что вдруг ни с того ни с сего начала кровоточить часть твоей души. Показывать коллегам по работе фото разрушенного города и говорить, что вот в этом доме ты прожил двадцать лет, а по этой улице гулял с "первой своей любовью" до утра. Созваниваться с друзьями по интернету, перебирать в памяти веселые картинки посиделок и утратить способность дружить с новыми людьми.

Быть горловчанином - значит, носить с собой паспорт, равнодушно провожать проезжающие мимо "Уралы", спрашивать охранника в супермаркете работает ли карточка и с подростковой беззаботностью любоваться красивыми девушками в автобусе. С раздражением набирать на мобильном по двенадцать раз номер знакомого, а потом со страхом ловить себя на мысли, что он может не отвечать не по причине плохой связи. Считать минуты до комендантского часа, крепко обнимать человека, которого не видел полгода и слушать историю за историей о "попаданиях". Стоять, опустив глаза, когда тебе рассказывают о своих "прятках в коридорах". Не находить слов, услышав знакомую фамилию в рассказе о погибших и испытывать смешанное чувство, узнав что вот такой-то ушел в ополчение.

Быть горловчанином - значит, облагораживать свой подъезд и придомовую территорию, зная что после первого же артобстрела это может быть напрасной тратой сил. Радоваться ухоженным клумбам, упитанным котам и теплomu дню. Пытаться в интернете упрямо доказать и объяснить что здесь происходит, но неизменно наталкиваться на насмешки, поддевки и цинизм тех, кто уверен, что такого у них никогда не будет.

Быть горловчанином. Наверное, это быть обыкновенным человеком, который, вырвавшись из своих мрачных подвалов пережитого, снова стремится жить. Истово. Наперекор возвращению в этот самый подвал. Дышать так, как не дышал никогда прежде. Это тот же киевлянин, москвич, севастополец, гомелец.... Только немного другой, заново родившийся в своих несчастьях и тяготах. Безнадежно провинциальный, но знающий цену настоящей жизни.

Тьма града обреченного

Я снова вижу сны. Сумбурные, повествующие и, непременно, противоречащие здоровой логике. Иногда - еле уловимые, временами - тревожные, а, порой, полные темных образов войны. Но это и не важно. Главное, я снова вижу сны.

Неделю назад вместо них было черное забытие, куда разум погружался подобно жертвенному тельцу, спускаемому в глубокую пещеру со змеями. Бесчувственное небытие, прерываемое увертюрами фальшивящих духовых под управлением коварного Ареса и неистовой Энио. Несколько часов бодрствования среди карандашных эскизов реальности и вновь аспидное, чернее самой заброшенной из донбасских шахт, беспамятство.

Горловка. Последние дни перед очередным "огневым перемирием". Время, о котором я меньше всего хотел бы вспоминать, но о котором нельзя не рассказать. 13 и 14 февраля - дни без света, надежд и мыслей. Жизнь по инерции, наполненная рутинной бытовых ритуалов и пустяковыми разговорами ни о чем, которые, однако, не позволяли людям сходить с ума. Ванная - коридор - подъезд. Серое утро - пепельный день - казематный вечер. А за окном - свечные зрачки в серых глазах девятиэтажек. Многоэтажные дома мне больше всего напоминают стоящие посреди пустыни, которая некогда была морем, остовы гигантских подводных кораблей. Откуда такие ассоциации? Наверное, благодаря одной из песен Сергея Калугина, которую за эти дни я, буквально, пережил. Настолько точно описаны в ней чувства человека под артобстрелом:

*Как подводная лодка
В бескрайней пустыне
Погибала в воздушном бою.*

*Как трещала броня, и дела были плохи,
Небо в дыры хлестало как газ;
И глубинные бомбы бездарной эпохи
Разрывались все ближе от нас.*

Запуск. 12 секунд ожидания. 10 ударов сердца. Взрыв. Дрожащие стены. Звонящие окна. Потемневшие в полумраке радужки расширенных глаз. Закрытые ладонями от страха рты. Шепчущие "Отче наш" дети и старики. Оглывающие парафиновым потом от натуги осветить прижавшиеся к стенам тела свечи. Еще один запуск. 10 секунд ожидания. 9 ударов сердца. И все заново.

В какой-то момент мне стало казаться, что это уже не артобстрел, а... кровавадный дракон сжигает наш город. Вызванный безумным разумом некоего

чародея, монстр с особой злобой трощит человеческие постройки и ищет еще живую плоть их обитателей. Свист летящего фугаса легко можно было принять за взмах разрезающего февральский воздух крыла. А всполохи за окном - за выпускаемые драконом языки пламени. Сказочное безумство, в которое хотелось верить больше, чем в реальность. Потому что беспощадно уничтожающий людей монстр - это понятнее, чем убивающие друг друга люди, которые еще недавно жили в одной стране.

Знаете, в абсолютной тишине (вернее, окружающей среде, лишенной аудио-признаков электронной жизнедеятельности человека) звуки падающих в нескольких сотнях метров снарядов кажутся еще более леденящими кровь и способными лишить тебя рассудка. Порой возникало чувство, что психика не выдержит и ты задохнешься в этих ненормальных подсчетах секунд от запуска до падения. Поэтому при артобстреле легче было читать или слушать музыку на садящемся плеере. Отвлечь себя от картины летящего в ночном пространстве снаряда, которую рисовало воображение в оцепеневшем мозгу.

А вечерами были звезды. Как сказал один из моих близких друзей: "За эти два дня я вспомнил, как люблю смотреть на звезды. Пусть и сквозь оконное стекло. В них есть что-то вечное и вселяющее надежду". Да, пожалуй, звезды за эти два дня были как никогда прекрасны. Они заменяли фильмы лучших европейских режиссеров и сводки новостей. Они светили во времена всех войн и видели кровь не одного человеческого поколения. Дождались, вот и нашей. В новом Граде обреченном, который кочует из века в век и никогда не задерживаться надолго в одном месте.

Waffenruhe и... немножко нервно

Мне настолько осточертела правда войны, что я искренне хочу быть обманутым перемирием. Даже самым худым, побитым и обнищавшим. Хочу обнять этого калеку с проступающими из-под шахтерской робы плечами, а потом пожать его завернутую в бурые бинты культю. Я точно знаю, что пришедший 15 февраля в Горловку мир - обман, передышка перед новым отчаянным боем, актерская реприза на подмостках театра военных действий. Но я готов поддаться блефу этого геополитического преферанса, дабы немного вдохнуть тишины и смазать свое заржавевшее тьмой сердце. Иначе оно остановится, перестанет будить и возвращать меня из мизантропических снов разума. Мне нужен этот обман, как и сотням тысяч моих близнецов в Донецке, Горловке, Енакиеве, Дебальцево, Углегорске и Первомайске. Мы требуем ложь мира перед неминуемой правдой войны.

*И город пальцы сжал перстом,
Перекрестил себя крестом,
Чтоб на себе не дать поставить крест.
Мой город сохранил лицо:
Прорвал блокадное кольцо,
И вновь зовёт к себе оркестр.*

Именно эта песня Александра Васильева играла в моих наушниках, когда утром 15 февраля я вышел на улицу своего большого и затравленного города. Вообще в последнее время я стал замечать, что музыканты - это некие проводники-прорицатели. Быть может, они поют о чем-то своем, но это так точно соотносится с моей действительностью. Порой просто поражаешься совпадениям, описаниям и предсказаниям.

Знаете, что больше всего пугает, когда идешь по городу, который месяц находился под артобстрелом, а ты почти все это время был дома? Ожидание. Ты не знаешь, что ждет тебя за углом ближайшей многоэтажки. Ты хочешь увидеть, что там все осталось по прежнему, но где-то на самом краю сознания таится другая мысль. Даже не мысль, а смутный образ. Разрушенного, изувеченного и покоренного "привычного". Боишься, что этих деревьев уже нет, а дом друга, в гостях у которого ты провел не один прекрасный день во времена студенчества, превратился в руины и пепелище. Ты боишься увидеть разрушенные улицы детства, сквер юности и дороги зрелости.

А на встречу идут люди, которые смотрят вверх. Но не на небо, а в поисках разбитых окон и осколочных выбоин на стенах. И от этого становится страшно.

От экскурсионного любопытства в их глазах. От привычности взгляда на разрушения. От ровности рассуждений о траектории полета. Но есть и другие, кто осторожно тебе улыбается или смотрит на город с бесслезным блеском в глазах. Или вот чудак, который идет в наушниках с мобильным в руках и бесечно напевает что-то из "Короля и Шута".

"Когда закончились артобстрелы, то я, действительно, хотела выйти на улицу с воздушными шариками и флажками, - сказала мне через пару дней одна из знакомых. - Здраваться с живыми людьми, махать флажками и поздравлять с тишиной каждого встречного".

Я даже и не знаю, как передавать вам чувства человека, который поверил, что в ближайшее время больше не будет обстрелов. Вышел в морозное утро февраля и своими ногами прошел несколько километров по городу без звукового сопровождения РСЗО, гаубиц и минометов. Облегчения? Окрыленности? Пробуждения? Нет, это все не то. Потому что гамма чувств, разлитая в душе человека, в этот момент больше всего схожа с красками на полотнах Клода Моне или Поля Гогена. Правда, каждый резкий звук накладывает на эти картины неизменный эффект сепии.

Я не буду вспоминать вечер этого дня, когда вернулся домой из тревожной вселенной Горловки с букетом февральских переживаний. Хотелось их тут же поставить в электронную вазу текста и сохранить как можно дольше. Но, увы, электричество так и не дали. Что было вечером - вы, наверняка, уже знаете. Поэтому я скажу о том, что запомнилось мне в последнее мирные часы этого дня. Свечи в домах напротив. Они не только освещали обесточенные жилищные бомбоубежища, но и были неким поминальным символом войны. Их танцующие в оконных сквознях лепестки, словно огни Святого Эльма, шептали: военный шторм рядом, но мы выживем. И, правда, как говорил Юрий Юлианович, пока горят поминальные свечи - еще годы до темноты...

В городе идет снег. Рыхлый и слишком слабый, чтобы укрыть саваном трехнедельные военные стигматы на теле Горловки. Его не хватает и на обезболивание душевных ран. Он не радует. Снег похож на застывшие слезы. По всем погибшим и раненым. Он падает на уцелевшие оконные стекла с прозрачными крестами, бетонные язвы стен и бахрому электропроводов. Падает, враз стекая змейками вниз. Небесная капельница перед новым курсом шоковой терапии.

В городе стало тише. Но эта тишина не принесла ожидаемого облегчения. С ней пришла опустошенность. Пустые улицы, пустые люди, пустые мысли. Мне хочется верить, что все происходящее - не завершение, а начало. Вынужденное форматирование нашего внутреннего мира. Страшное очищение, позволяющее что-то понять, переоценить и заново родиться. Альтернатива - вечная тьма ненависти и боли. Жизнь в комнате кровавых воспоминаний, сломанных судеб и разъедающей мести. Когда-то о чем-то таком пел Дмитрий Дубров:

*Много слов и не понять ничего,
Слишком много командиров на одно лицо,
Ты мне протягиваешь руки, но в ладонях – чума,
Здесь завтра точно будет братство, но теперь война.*

Quo vadis? Куда же мы идем, сквозь эти крошечные песнопения смертей? Для чего зажигаем поминальные свечи? Во что выльются страдания, страхи и лишения оставшихся в городе? По какой дороге мы пойдем? Не геополитическому пути. Меня интересует внутренняя стезя. Не важно, какие флаги и законодательные акты будут действовать в Донбассе, если мы потеряем то, что важнее всего для пространства Homo sapiens - человеческое достоинство.

Война - колокол, вызывающий к сердцам. Взглянуть на себя со стороны и задуматься, что важно в жизни. "Плазмы" и в HD-фильмы или сострадание и помощь нуждающимся. Можем ли мы услышать голоса людей, а не только урчание своих потребностей? Война встряхнула уютные норы, раскрошила панцири мещанства и окунула в ужас человеческого существования. Враз исчезли картонные бастионы привычек, потускнел нимб "карьерного роста", обнажилась внутренняя сущность людей. Мы - голые дети цивилизации. Лишенные как корон, так и обуви. Мы живы. Но для чего? Чтобы жить или существовать?

В городе продолжает идти снег. Неспособный залечить, но неизменно оплакивающий наши раны. Белый, как возвращающиеся к земле души, и холодный, как голос небесного контакт-центра. Возможно, этот снег ничего не значит сегодня, 9 февраля. Либо же мы просто не хотим читать знаки этого мира.

Город опять салютует себе...

Знаете, все, что я пишу о военной Горловке, мне начинает казаться охрипшим воем человека, на руках у которого посреди улицы истекает кровью любимая. Мимо идут люди - кто-то оглядывается, кто-то снимает на мобильный, а другие зло бросают через плечо: "Так тебе и надо, меньше по улице будешь бродить". Понять могут разве что те, кто сам потерял близкого человека, либо же... родственники этой девушки. Даже приехавшие врачи смотрят на умирающую без эмоций, отмечая лишь частоту сердцебиения, дыхание и количество потерянной крови. А я... растерянно перевожу остекленевший взгляд с одной удаляющейся спины на другую и проглатываю ухмылки недоброжелателей. "Как же так, - беззвучно шепчу я себе под нос. - Как же так?"

Восьмой день по улицам Горловки в полную мощь гремят тамбурины и контрабасы "Данс Макабра". Стальные гарпии "Градов" пляшут по крышам бомбоубежищ и впиваются в бока затаивших дыхание поселков и жилых массивов. Порой мне кажется, что сама горловская земля истошно рыдает, когда очередной гаубичный фугас на несколько метров вонзается в ее плоть. Курочит корни деревьев, рвет на части промерзшую землю и выжигает все живое на десятки метров вокруг, оставляя лишь злокачественные осколки ненависти. Человечество уничтожает само себя по известным лишь ему причинам. Земля не знает национальности. У нее нет паспортных данных и гражданства. Она лишь может впитывать теплую кровь и с должным почтением принимать остывшие тела сынов и дочерей человеческих в свое непатриотичное лоно.

Я давно исчерпал цветные краски слов, чтобы передать тот ужас, который переживает мой город восемь дней этой бесноватой пляски Смерти. Остались только черно-белые. И совсем чуть-чуть серых. Каждое утро, открывая глаза, я удивляюсь, что проснулся в своей квартире, а не в сумасшедшем доме. Ведь все происходящее больше всего напоминает делирий душевнобольного. Мне трудно представить, как в этой чудовищной мясорубке сохраняют здравый рассудок врачи, медсестры и санитары. Откуда берут мужество работники ЭЭС, водоканаловцы, теплотехники и коммунальщики. Чем мотивируют себя водители автобусов, которые ежедневно выходят на маршруты. Никто, никто из них не знает, когда и кого в этом городе жилых коридоров и коллективных подвалов настигнет колесо военной рулетки.

Я никогда не знал, что от продолжительных выстрелов собака может зарыть голову в землю и задохнуться, боясь высунуть ее оттуда. Что коты сидят от разрывающихся снарядов РСЗО, а их сородичи в панике прыгают с балконов, когда чувствуют, что взрывы приближаются. Сам бы во все это не поверил

и, наверное, скептически посмеялся, если бы не слышал рассказов хозяев обезумевших животных. Никогда не думал, что январь может быть настолько страшным месяцем. Только сейчас я начал понимать четверостишие Анны Ахматовой, написанное ей 27 января 1944 года:

*И в ночи январской, беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.*

Блокада Горловки не снята и пока наш город все еще находится в этой "смертельной бездне", но салютует, салютует, салютует...

Сегодня вышел около четырех часов дня и прошелся по одной из центральных улиц. Гнетущая, давящая на виски тишина. И пустота, в которой затаились плотоядные жерла пушек. Ты не можешь их увидеть, но чувствуешь... Чувствуешь каждой клеткой скользящих по льду ног. Каждым миллиметром напряженного тела. Каждым вдохом и выдохом. Ты весь, с головы до пяток, превращаешься в сверхчувствительный уличный сонар, пытающийся уловить изменения в порывах ветра и окружающем безмолвии. И вот где-то слева начинает греметь. Далеко и неясно, но ноги уже сами пригибаются, а глаза ищут бетонный забор, под которым можно спрятаться.

Машина. Идущий.... нет, передвигающийся перебежками прохожий. И пристально всматривающиеся в тебя из-за штор жильцы двухэтажки. Но ты идешь, оглядываясь на разбитые окна второго этажа, сорванный "попаданиями" шифер под ногами и мчащиеся на запад пятнистые внедорожники с турелями. А в небе все громче звенят артиллерийские молоты, продолжая свою битву за Вальхаллу.

Я перестал узнавать свою любимую. В этих кровавых струпях на разбитом лице, с обожженными ладонями и перебинтованной грудью. Я надеюсь только на одно - что она сильнее свалившего ее огнестрельного ранения. Я верю, что еще увижу ее простую улыбку на запыленном степном лице. Возьму за многоэтажные плечи и скажу: "Будем жить, родная. Будем!".

Иногда

Мне постоянно говорили - не смотри в окно автобуса, когда едешь на работу. Мне говорили - не останавливай время, если нужно спешить жить. Мне говорили - не обращай внимания на людей, ведущих себя странно. Мне говорили много, настойчиво и со знанием дела. А я всегда был слишком никчемным слушателем рекомендаций, делая только то, что чувствовал правильным в данный момент. Никогда не испытывал жалости по поводу неудач и промахов из-за того, что кого-то не послушал. Я до сих пор уверен, что, вняв речам кого-то опытного и здравомыслящего, пропустил бы себя нынешнего, не особо чтимого, но насквозь привычного, как осенние ботинки в прихожей со сгоревшей лампочкой.

Иногда я смотрю на инвалидов. Не потому, что интересно и не от того, что сочувствую, и, уж тем более, не с неприязнью. Просто они - другие. Люди, стремящиеся делать то же, что и обычные люди, но по-иному. Как курят, сжимая сигарету, перемолото скрюченной рукой. Как идут по коридору больницы с тростью, не видя что и кто перед ними. Как неуклюже заходят в автобус, внося свой церебральный паралич в толчею, и извиняются за неудобства. Я наблюдаю за тем, как на них смотрят "нормальные люди" - отстранено, брезгливо, испытующе. "Нормальные" чувствуют себя рядом с ними чужаками, слишком ровно дышащими и правильно функционирующими. И "нормальных" это раздражает. Я чувствую это под их масками безразличия, сострадания и гнева. Инвалиды? Растерянно улыбаются. И я понимаю как это - быть Человеком.

Иногда я смотрю на детство во взрослых. Самое искреннее и неподдельное, которое нельзя снять в авторском кино и рассказать о нем детям. Два милиционера сидят во дворе на металлических качелях, движимых солидными подшипниками (принесенными чьими-то папами в далекие кризисные годы с какого-то машиностроительного завода). Сидят, поджав под себя ноги, и слегка покачиваются. Один держит автомат, а второй заполняет протокол. На их лицах незаметно играют забытые в третьем классе улыбки прогульщиков школы. Пока никто не видит. Спрятались в глубине тенистого двора.

Иногда я смотрю на желающих нравиться мужчинам девушкам. А потом, на долю секунды, устающих от своей игры в привлекательность и вдыхающих небо. Хрупкая блондинка с короткой стрижкой, парой татуировок на спине и в обтягивающем летнем платьице. Прыгает с последней ступеньки автобуса к лужам остановки. Резко разворачивается, поднимает голову вверх, смотрит на вышедшее из-за туч солнце, подставляет лицо каплям дождя, закрывает глаза и... улыбается. Так естественно и непринужденно, что видна только ее душа.

Без "Космополитенов", эпиляций и хорошего парикмахера. Вот та самая, что семь-десять лет назад лазила на деревья за котами, дралась с пацанами на год-два старше и просила бабушку еще раз рассказать о том, как та ходила на танцы в молодости. Дождь, улыбка, душа и...

Я не знаю что такое - нормальный мир. Иногда я смотрю туда, куда смотреть нельзя. Ошибаюсь, делаю неверные шаги. Ищу запасной выход из этой бесконечной пьесы "правильности" того, что мне говорят. И если перестать слышать, завернуть за угол, остановиться и поднять голову.... Вот в этот самый миг происходит самое необыкновенное, удивительное и навсегда меняющее тебя "иногда".

Le traître

Чувствуете этот приторный, слегка пьянящий и тягучий вкус изысканных помоев человеческой души? О чем это я? Конечно же, о предательстве. Упоительном, безграничном и ни с чем несравнимом превращении в слипшуюся во влажных ладонях горстку серебряных монет. Разве вы не пробовали этого восхитительного и чудодейственного эликсира? Омолаживающего, протрезвляющего и рождающего заново. Две-три капли и вы словно вышедшая из пены кислотной и регенирированная сталелитейным заводом Афродита. Конквистадор в панцире железном. И мир вокруг сразу оказывается глубоким, ярким и резким, словно на него смотришь соляными глазами, выросшими на месте тех, что пару дней назад вырвали раскаленными щипцами для завивки милейших ресниц.

Если вас предадут, то ни в коем случае не отказывайтесь от этого благороднейшего из вин. Пейте, до самого дна, ощущая терновый букет в каждой обжигающей капле молчания. Почувствуйте себя оцененным, сторгованным, проданным и умершим. Поднимите с благодарностью протянутый вам бокал и осушите его до самого дна. Видите заплаченную за вас цену? А теперь - дышите. Ощувив, как в груди снова забилося сердце - смейтесь. Зло, бездейственно, искренне прощая каждого, кто оказался настолько слаб, что сам приготовил для вашей души бессмертие. Смейтесь не от радости и облегчения. Смейтесь той пуле, которая останавливает секунды во время расстрела, чтобы вы прожили внутри себя еще две-три жизни. Смерть подождет - она терпелива даже к самым опустошенным и потерянным существам.

Изменить мир, прыгнуть выше своей головы, выбраться из жижи быта и снедающих сердце страстей может только тот, кому уже нечего терять. Расстрелянный, выпотрошенный до последней сушеной бабочки из груди, подвешенный вниз головой - веселящийся мертвец, лично знакомый со всеми чудовищными порождениями людского разума. Человек, который не может спасти себя, но способен пожертвовать собой. Знающий, что никому не нужен, но верящий в каждого из равнодушных. Готовый принять предательство, как нечто само собой разумеющееся, заплатить предложенную за него цену и все равно верящий в Человека в каждом человеке.

Предательство - не смерть, предательство - крик новорожденного, в легкие к которому вошел обжигающий воздух. Если вы готовы родиться - примите предательство от тех, кто вам его предлагает. Научитесь дышать в этой пустоте. Иначе... иначе и сами предадите.

Silence de beauté

Жил-пел на берегах Невы один мудрый человек. И вот как-то обронил он в колодец чужого сознания (словно жетончик от надоблачного метро в шляпу шута) мысль о том, мол-де мир (ну, или только нас) спасут немотивированные акты красоты. Лично я, впервые услышав об этом, просто-напросто прошел мимо, ухмыльнувшись и вежливо склонив голову на бок. "Ах, какая диковинная безделушка!", - сверкнул мой левый глаз, а правый по-кошачьи слегка прищурился. Но клепсидра в поэтическом сердце замедленного действия имела наглость перевернуться и что-то там внутри закапало, готовое взорваться.

Иногда мне нравится дарить прохожим девушкам цветы. Не потому, что хочу пригласить на чашечку кофе. Просто, видя их красоту, внутри возникает какое-то чувство... действия. Нет, опять же - не физического. Как же это объяснить. Ну, вот нравится мне песня или картина и что я могу? Если художник жив, то пожму ему руку и поблагодарю. А вот художественность женской красоты... В самом-то деле не подойдешь же и не скажешь: "Девушка, спасибо вам, что вы такая красивая!". Ну, есть в этом что-то из паручасовых бесед в кабинете с зеленой кушеткой. Я понимаю почему девушки красивы. Природа хитро сплетает кометы на обратной стороне Луны и... вуаля! Но все же некоторые из них вызывают такие же чувства, как картины Моне, стихи Блока или рапсодии Дебюсси.словно, солнечный удар в полночь. Даже не сразу понимаешь, что произошло, а город расплывается акварелью. Хочется просто смотреть.

Я не знаю, что делать в такие моменты. Единственный выход - купить цветы. И для каждой красоты свои. Для блюзовой рыжестьи - полевые или ромашки. Для декадентского нуара - красные розы или лилии. А вот с отблесками блондинок никогда не угадаешь, но уж точно подойдут хризантемы. Почти у каждой будет удивление на простом, едва тронутом косметикой молодом лице. Почти каждая спросит: "Это мне? А почему?". И вот тогда стоит пожать плечами и сказать: "Считайте это немотивированным актом красоты". И уйти. Да, скорее всего тебе в спину будут смотреть удивленно, а, может, недоуменно-равнодушно или разочарованно. Какая разница. Красота должно оставаться в тишине, даже если это тишина твоей головы.

Я благодарен небу, что порой позволяет видеть женскую красоту (причем абсолютно разных возрастов). Ивовые изгибы рук, восточный разрез глаз, ямочки на щеках, непослушные вьющиеся пряди на шее, утонченные профили с горбинкой, вороньи брови.... Высшее творчество природы в человеческой внешности. То, на что нужно смотреть и попытаться выразить словами. И сказать "спасибо" простым цветком, который тоже здесь и сейчас прекрасен.

Просто я вновь надел наизнанку истрепанную душу 42 размера, по привычке приколов к ее подкладке беззаботность лишнего позавчера. Где это видано, чтоб в таком облике можно было ходить на людях, да еще в наше-то время? А я вам не отвечу - так и знайте, просто пройду мимо, насвистывая что-то из разгульных мелодий сержанта Пеппера. И не цокайте мне вслед своими усишками. Просто сегодня мне нечего надеть, а дыры... Ну видите - там аккуратные заплаточки из пары недель осени и гипсовые бюстиккаи- журавля и синицы.

...никогда не был там, где она семнадцатилетней танцевала в черном белье после двух стаканов молдавского вина под морфинную "Буена" на письменном столе. И там, где в двадцать резала запястья под проявочным светом в абсолютной тишине. Не ходил ее узкими улицами с разрисованными ржавым гвоздем кирпичами - "Radiohead", "Будь верен своей голове", "Жизнь - это не говно". Не держал ее за руку на крыше разрушенной больницы, не обнимал за острые ключицы, не читал с едкой улыбочкой наизусть "Письмо Татьяне Яковлевой". Никогда не спал с ней в обнимку под настойчивые морзе-сообщения октябрьских веток в стекло. Нет-нет-нет, она не говорила мне сдержанного "Будь ты проклят", не вынимала из петлицы розу, не кидалась в открытое окно, чтобы провалиться два месяца консервной банкой в реанимации. Я не подносил ей стаканчик дрянного кофе на трамвайной остановке, не развязывал зубами фенек, не строил планы жить в Калининграде до ее второго выпуска...

... она никогда не слышала звона колокольчиков на моем рюкзаке под проливным солнцепеком в двух километрах от города. Не читала моих поцелуев на запотевшей радужке уезжающей без прощания электрички. Ее не вдохновляли мои ребячества и глупости на тайной прогулке у заброшенного завода, где ветер снимал шляпы с крыш и представлялся спившимся бас-гитаристом Bijelo Dugme. Она не выгаскивала меня пьяным из городских луж, где я ловил падающие звезды в свое сердце. И уж точно, не знала, что я могу летать, не отрываясь от земли - разбитым сарказмом в свои воспоминания. Ей не было со мной скучно на концертах, радостно в перерывах между обстрелами, тошно по пути в очередной поэтический притон, страшно во время случайных разборок. Она не проживала со мной за час две темнейшие эпохи Средневековья....

У нас, казалось бы, с ней нет ничего общего. Кроме моего "Извините, а не подскажите, как пройти к автовокзалу?" и ее "Конечно. Свернете направо, там будет грифон с отбитой лапой. Обойдите его кругом и весь мир перед вами".

Мы друг другу - никто.

Танец исчезнувших дней

Иногда дни исчезают из жизни. Высыхают, как капли водопроводной воды на непротертом досуха винном бокале. От таких дней остаются лишь сероватомутные разводы и неприятный скрип полуоткрытых посудных шкафов. Каких-каких? Ну, тех самых, где впившись друг другу в ключицы задорно отплясывают никогда не покидающие нас скелеты на осколках разбитых надежд и проржавевшего честолюбия. Наступают нам своими заточенными костями на горло, прижимают к полу и вот уже ни один из самых аппетитных кусков этого мира не способен нас соблазнить. До тех самых пор, пока мы не решимся съесть этих некротанцоров целиком, глотая каждую кость и чувствуя, как те царапают запоями, стихами и безумствами душу.

И вот они уже живут внутри нас. Перетертые, согретье и выпеченные во что-то невообразимо театральное, оправданно-аппетитное и изначально чуть заплесневевшее. Блюдо для старости и поучительного жизненного высокомерия. Вот такого мертвеца несложно время от времени вытаскивать наружу, ощупывать его гладкий череп, пожимать кисти и пересчитывать позвонки. Труднее его засунуть потом обратно. В свою маломерную душу, где и так уже валяется невынесенный с прошлого счастья макет радуги и пять бутылок отменнейшей, но прокисшей печали.

Можно вспомнить, что ты делал в такие исчезнувшие дни, но на самом деле их просто не было. Как тетрадей по геометрии за 9 класс. Как майского жука с оторванными крыльями и отданного на съедение пауку. Как улыбки в закрытых ладонями от испуга глазах. Эти дни становятся фамильной картиной твоих мыслей, где очень красочно, но уже бессмысленно, запечатлена никому неинтересная битва. И этих дней становится все больше и больше, превращаясь в настоящее кладбище повседневности, посреди которого круглосуточно работает кабак. Да-да, тот самый откуда каждый день выносят еще одно недоплавшее тело и тут же хоронят под крик новорожденных.

"Сего момента почил такой-то день..." О, нет! Не за правое дело и не за левую идею. Он почил от ненужности и одиночества. От него нам остались заложенные в ломбард моргающие часы, долговые расписки и не очень уж поношенный костюмчик. Ну что ж, все не так плохо. Его имя будет хотя бы записано в церковную книгу всемирной сети, чтобы кто-то зажег поминальное "Нравится" и помянул усопшего секундой усмешки.

Башня (отрывок)

...Мощенная красным камнем дорога тянулась через степь с запада на восток. Вдоль нее сгибались под нервными прикосновениями ветра сухие травы. Многие из них ломались и, падая в теплые ладони сильфов, улетали все дальше и дальше в неизвестность.

Казалось, что может остановить движение этих живых полотен в бескрайнем степном просторе? Лишь нечто столь же древнее и величественное, как и сама степь. Подобно исполинскому зверю, распластавшему одряхлевшую тушу на смертном одре, среди бледно-желтых болезненных равнин покоились развалины древней крепости.

Изъеденное оспой времён полукольцо стен прижалось к единственной башне, издали напоминая гигантского конкистадора, устремившего ввысь голову. Красная дорога ныряла в разинутую пасть западных ворот, вываливаясь потрескавшимся от жары языком из восточных. Врата некогда великого бастиона были раскрыты настежь. Ветер гнал сквозь них клубы вездесущей пыли, по крупице обгладывая гранитные кости.

Сквозь дорожные камни пробивался остролистый типчак. Сухой, словно пальцы ткачихи, он боролся под сводами замка за право жить. Не зная прикосновений воды, трава утоляла свою жажду лишь иногда - кровью случайных прохожих. Но сейчас древняя память предков пробудила в ней смутные ожидания чего-то великого. Она впервые ощутила приближение дождя.

Башня, как и все живое в округе, замерла в тягостном томлении. Сжались в спазмах стены, наполненные степной сухостью. Застонали обожженные раны перекрытий в сгоревшей библиотеке. И даже прохудившаяся крыша захрустела суставами черепков, предвкусывая хлесткие прикосновения небесной реки. Каждый кирпич представлял, как вода заполнит пыльные трещины и по артериям изможденного старика потечет прозрачная кровь. В земле зашевелиятся каменные корни, оконные глазницы затянет мутная пелена стекол, а коридоры задышат под вязью виноградной лозы. Башня ждала этого каждой частицей безграничного разума, столетиями пребывавшего в летаргии. Сотни лет ей снился один и тот же сон. Сон о том, когда придет дождь.

Над бастионом сгущались темно-лиловые тучи. Солнце, нехотя уходящее за их распухшие бока, окрасило стены развалин в болезненные оттенки золотого. Приближалась гроза...

Intervention de l'art

Кидаю в шляпу уличного флейтиста полустертую медную монету и исчезаю в туманных рантах двух с половиной вековой печали об Орфее и Эвридике. Город становится монохромной иллюзией, обернутой холщовым гулом автомобилей и стянутую бечёвкой мимолетных разговоров. В этом танце теней собственное Я кажется трепещущей на ветру серой нитью городского пальто. Сплетением пыльных волокон, выдернутых медной пуговицей из заводской ткани и, противореча всем законам существования, чувствующей, что ее вот-вот оторвут. Единственное, что сейчас есть - красная лента нот и созвучий, повязанная сумасшедшим в честь солнечного дня на лацкан будничного абсурда.

Музыка, стихи и живопись не могут не сводить с ума - стоит лишь задуматься об их недопустимости в привычном канцеляризме жизни. Да, в жизни есть то, что не претендует на нашу размеренную обыденность. То, что мы научились называть "отдыхом для души". Художественные музеи, получасовые чтения перед сном и мрЗ-шкатулки с вакуумными каналами связи. Резервации времени и пространства, тщательно огороженные нами от нашего же житействования. Не только, чтоб побыть с искусством наедине, но и не допустить интервенцию необычного в привычное. Дозированное восхищение тем, что "одухотворяет", но должно знать свое место в плотном графике дел и проблем.

Вот, вы идете на работу. Ту, где должностные инструкции и порой допускается творческая инициатива. Правда, своеобразная - утилитарная и строго функциональная, не выбивающаяся из конвейера общего дела. Вы уже приступили к какому-то делу и тут sms от друга: "Живущие у края пустыни - становятся бессмертными, теряя счет песчинкам в часах". А у вас отчеты, планы или, хуже того, нераскрытое убийство. Может, в выходной, где-то в парке вы бы и подумали над этой милой лирико-философской заметкой, но... Или все же: "Каждая пустыня тоскует об океане, помня, что в прошлом у нее была глубина". Ответ может быть и другой. Но есть ли этим аггадам место в нашей жизни?

Если бы я был арт-террористом, то взрывал бы всю эту размеренность зенитными залпами Прокофьева и Джона Лорда, в отчетах ставил растяжки Маяковского и Джангирова, и выпускал бы на волю серых стен полотна Яблонской и Моне. Без сожаления расстреливал жилые кварталы усредненной культуры из тяжелой артиллерии футуристов и постмодернистов. Бессмысленно сшивал бы две реальности, столько веков сосуществующих рядом, но до сих пор разделенных теми, кому нужны четкие выполнения задач и прибыли. Пока же... кидаю в шляпу уличного флейтиста полустертую медную монету и исчезаю в туманных рантах двух с половиной вековой печали об Орфее и Эвридике.

Le sarcophage

Странная мысль: не я пишу тексты, а они все больше начинают писать меня. Вернее, создают слепки-саркофаги, схожие по внешнему виду на меня самого. Двойников, застывших обелисками и бюстиками в словах, а потому далеких от того, кто, к примеру, сейчас смотрит в молочное небо на разбитой остановке или сидит с сероглазым томиком Бротигана на бетонном парапете.

Люди, заговаривающие со мной на улице, на самом деле, стремятся связаться с тем, что было когда-то мной написано. Как воспринимаю это я? Как ритуал, порожденный их внутренней потребностью к диалогу. А чужие ритуалы стоит уважать. Но мало кто осознает, что подобные действия - всего лишь попытка поговорить с музыкой и картиной. И тут я могу быть только близким родственником того, с кем им хочется пообщаться в моих текстах. Как человек, который близко знал усопшего.

Да, под этими слоями гранитных саркофагов бьется живое сердце. Пульсирует кровь, которая время от времени вытекает наружу словами и застывает новым слепком. И чем больше я пишу, тем больше становится этих окаменений, под пластами которых уже почти не слышно живое сердце. Не потеряю ли я сам себя во всех этих словах?

Table des matières

Avant-propos.....	3
	Стихи
La douleur.....	4
Doppelgänger.....	5
Stay Away!.....	6
La Transfiguration.....	7
Salvia D.....	8
Ab imo pectore.....	9
2015 An Odyssee Inside.....	10
В допоре.....	11
The Catcher	12
Sur le chemin de l'avant-poste.....	13
Recherche.....	14
Пеппи.....	15
Виват Дракон!.....	16
Rattenfänger.....	17
Вдали от Расёмона.....	18
Alea jacta est.....	19
A l'ombre des majorités silencieuses.....	20
Note de suicide.....	21
Rencontre avec Lilith.....	22
Последний кормчий Ойкумены.....	23
Charon Reggae.....	24
Le dernier arrêt.....	25
Отмеченный тьмою.....	26
Folie.....	27
La maladie.....	28
Я - террорист.....	29
La paix.....	30
Осточертло!.....	31
Le Mort-dispensaire.....	32
"Εσχατον.....	33
interlude.....	34
	Лирико-философские миниатюры
Brocante.....	35
Объявление.....	36

На рынке труда.....	37
Пропуск.....	38
Похороны Купидона.....	39
Soldat malgré moi.....	40
Embrasse-moi encore une fois.....	41
Vacuum.....	42
На Станции.....	43
La pierre.....	44
La rouille.....	45
Переход.....	46
Аргонавты.....	47
Ravitaillement du blocus.....	48
The Tragical Historie.....	49
Le voyage.....	50
Horloger.....	51
Остановка.....	52
Пробуждение.....	53
Непогода.....	54
Le sens.....	55
Le rendez-vous.....	56
Одноэтажный человек.....	57
La fenêtre.....	58
Между "до" и "после".....	59
Nigredo.....	60
Dernier.....	61
L'essai.....	62
L'infirmité.....	63
Могила.....	64

Малая проза

Note d'automne

Le Remède contre l'alcool.....	66
Nouveau cercle.....	67
L'enfance.....	68
Octobre ciel.....	69
Mon novembre.....	70
Ça n'est pas la première neige.....	71
Все, без исключения.....	72

Осколки эпохи настоящих вещей.....	73
Уроборос.....	74
Зеркало.....	75
Quart de siècle.....	76
Единственный путь в небо.....	77

Военно-городские миниатюры

Быть Горловчанином.....	78
Тьма града обреченного.....	80
Waffenruhe и... немножко нервно.....	82
Quo vadis?.....	84
Город опять салютует себе.....	85
Иногда.....	87
Le traître.....	89
Silence de beauté.....	90
Nemo.....	91
Танец исчезнувших дней.....	92
Башня (отрывок).....	93
Intervention de l'art.....	94
Le sarcophage.....	95

